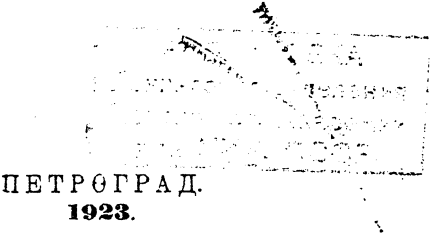
А. Ф. КОНИ.

ПРИЕМЫ и ЗАДАЧИ ПРОКУРАТУРЫ

(Из воспоминаний судебного деятеля)

С портретом автора.

35858



ПЕТРОГРАД.
1923.

Петрооблит № 8028. Тип. Политотд. X стр. див. Тираж 1500. экз.



А. Ф. Кони
(с фотографии 1921 г.).

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Устройство прокурорского надзора, права и обязанности его членов и об'ем их деятельности по советскому законодательству, после ряда переходных ступеней по отношению к лицам, призванным осуществлять обвинение на суде, могут ныне считаться вполне и определенно установленными. В виду статей 9—13 и ст. 58. *Положения о прокурорском надзоре*, лица прокурорского надзора приобретают особое значение, соединяя обязанности обвинителя и во многих отношениях функции дореформенного губернского прокурора, упразднение должности которого является ошибкой составителей Судебных Уставов. При этом *положение* значительно расширяет деятельность этих лиц. Этим об'ясняется введение правила о давно желательном *субсидиорном* обвинении и даже постановление о праве прокурора поддерживать, во всех стадиях процесса, гражданский иск потерпевшего и то, что прокурорам предоставляется возбуждение преследования против должностных лиц местных и центральных учреждений, не парализуемых, как в прежние время, *средостением* в виде согласия начальства. Наконец прокурору вменено в обязан-

ность отказываться от поддержки обвинения на суде, когда оно не подтверждается данными судебного следствия.

Таким образом, можно лишь приветствовать постановления закона о прокурорском надзоре в виду их широты и целесообразности. Но в судебной практике важны указания не только на то *что* имеет право и обязан делать прокурор, но и на то, *как* он должен это делать. Иными словами важно развитие правильного сознания нравственных требований от поведения прокурора, выражающихся в его приемах и поставленной им себе задаче.

С этой точки зрения, быть может, окажутся небесполезными предлагаемые ниже воспоминания судебного деятеля, восемь лет работавшего в рядах прокурорского надзора и затем десять лет исполнявшего обязанности обер-прокурора Уголовного Кассационного департамента.

Вводя в России заимствованный с Запада институт государственных обвинителей, составители Судебных Уставов стояли перед трудной задачею. Надо было создать должностное лицо, несущее новыя, необычныя обязанности и действующее не в тиши „присутствия“, а в обстановке публичного столкновения и обмена убежденных взглядов,—и действующего при том неведомым дотоле оружием—живым словом. Где было взять пригодных для этого людей? Не будут ли они слепыми подражателями западным образцам, не перенесут ли они на русскую почву страстных и трескучих приемов французских обвинителей, столь часто обращающих свое участие в судебных прениях в запальчивую травлю подсудимого? Богатый образчиками, в виде подлинных и переводных речей французских прокуроров, путь такого подражания, сравнительно легкий и свободный от смущающих душу сомнений, являлся опасным. На нем мог выработаться тип настойчивого обвинителя quand même et malgré tout,—обвинителя, так блестяще и остроумно охарактеризованного Лабулэ, изобразившим его говорящим присяжным про подсудимого: „я беру его со времени рождения: имея год от роду, он укусил свою кормилицу, двух лет он показал язык своей матери,—трех лет украл два куска из сахарницы своего деда,—четырех лет таскал яблоки из чужого сада, и если негодяй в пять лет от роду не сделался отцеубийцей, то лишь потому, что имел счастье быть сиротой“!

На этом пути дешевый успех и легкая карьера всего более могли бы быть обезпечены и тем нежелательнее был он для правосудия. Немецкий Staatsanwalt того времени был в сущности докладчиком тщательно составленной записки, в которой мертвая догматика часто занимала место красноречивого голоса жизни. Сознавая недостатки своих приемов, немецкие обвинители с тех пор постепенно вступили на путь французского красноречия, утратив в нем блестящую форму и галльское остроумие, но придав судебным прениям и отдельным заявлениям, как видно из некоторых громких процессов последнего времени, тяжеловесный и грубый характер. Не подходила во многом для подражания—в силу особенностей британского уголовного процесса—и речь английского обвинителя, разделенная целым перекрестным допросом на две отдельныя и независимыя одна от другой части, при чем в первой обвинитель говорил о том, *что* он будет доказывать, а во второй делал выводы из того, что он, по его мнению, доказал на судебном следствии.

В старом судебном строе была прекрасная должность губернского прокурора. Наследие Петровских времен и одно из лучших Екатерининских учреждений—должность эта, при всей своей полезности,—к сожалению, недостаточно сознанной при поспешном ея упразднении,—не представляла, однако, элементов для выработки обвинительных приемов. „Блюститель закона“ и „Царское око“—охранитель интересов казны и свободы частных лиц в случаях учреждения опек с ограничением их прав,—ходатай за арестантов и наблюдатель за содержанием их „без употребления орудий, законом воспрещенных“,—внимательный „читатель“

определений всех присутственных мест, шедших на его просмотр —возбудитель „безгласных“ дел, находившийся в прямых сношениях с министром юстиции, губернский прокурор, по существу своих прав и обязанностей, был представителем центральной правительственной власти, вдвинутым в среду местного управления. Но во всей его многообразной деятельности не было почвы для судебного состязания, при котором взаимно создаются и разрушаются аргументы и устанавляются новыя и не всегда ожиданныя точки зрения не только на приложение закона, но и на личность подсудимого, взятую не отвлеченно, а выхваченную из жизни со всеми своими корнями и ветвями. При том на практике губернские прокуроры, за несколькими блестящими исключениями, в роде знаменитого Ровинского или ученого Ланге, далеко не соответствовали идеалу, начертанному в Учреждении о губерниях. Если ко многим из них было бы несправедливо применить решительную оценку, делаемую Собакевичем в его отзыве о „христопродавцах“, то не лишенным справедливости представлялось напутствие Чичикова умершему губернскому прокурору: „а ведь если разобрать хорошенько дело, то на поверку у тебя всего только и было, что густыя брови“.

Таким образом, не было ни школы, ни подготовки для прокуроров-обвинителей, кроме вредных и чуждых образцов, но был зато налицо вечный припев против осуществления реформ, призванных оживить и облагородить наш общественный строй: „нет людей“! Жизнь, однако, блистательно опровергла эти зловещия опасения, способныя оправдать всякия неудачи и подорвать всякия начинания. Люди нашлись... Быстро и с запасом

неожиданных сил появились у нас в первые же месяцы после преобразования судов судебные ораторы, не только глубоко понявшие свою новую роль, но и умевшие владеть словом и вносившие в это уменье иногда истинный талант. И не слепыми подражателями французскому образцу явились они. Самостоятельно пошли они своей дорогой, еще раз доказав способность духовной природы русского человека. Нельзя не признать, что общий характер и приемы русской обвинительной речи имели очень мало общего с тем, что, под влиянием страстности национального темперамента, одностороннего отношения к подсудимому и освященных годами привычек, излагают на суде, в большинстве, французские прокуроры. Основныя черты слагавшагося русского типа обвинителя были—за исключением редких, но печальных уклонений в область бездушной реторики,—спокойствие, отсутствие личного озлобления против подсудимого, опрятность приемов обвинения, чуждая и возбуждению страстей, и искажению данных дела, и, наконец, что весьма важно, полное отсутствие лицедейства в голосе. в жесте и в способе держать себя на суде. К этому надо прибавить простоту языка, свободного, в большинстве случаев, от вычурности или от громких и „жалких“ слов. Лучшие из наших судебных ораторов поняли, что в стремлении к истине всегда самыя глубокия мысли сливаются с простейшим словом. Слово—одно из величайших орудий человека. Бессильное само по себе—оно становится могучим и неотразимым, сказанное умело, искренно и вовремя. Оно способно увлекать за собою самого говорящего и ослеплять его и окружающих своим блеском. Поэтому нравственный долг судебного

оратора – обращаться осторожно и умеренно с этим оружием и делать свое слово лишь слугою глубокого убеждения, не поддаваясь соблазну красивой формы или *видимой* логичности своих построений и не заботясь о способах увлечь кого-либо своею речью. Он должен не забывать совета Фауста Вагнеру: „говори с убеждением, слова и влияние на слушателей придут сами собою".

Судебные Уставы, создавая прокурора-обвинителя, начертали и нравственныя требования, которыя облегчают и повышают его задачу, отнимая у исполнения ея формальную черствость и бездушную исполнительность. Так, они устранили, указывая задачу прокурора, требование обвинения во что бы то ни стало и старались удержать его от близорукой или ослепленной односторонности. Составители Уставов, в своей об'яснительной записке 1863 г., указывали на необходимость вменить обвенителю в обязанность не возбуждать неприязненных к подсудимому чувств. В окончательной редакции это вылилось в наставление прокурору, что в речи своей он не должен ни представлять дел в одностороннем виде, извлекая из него только обстоятельства, уличающия подсудимого, ни преувеличивать значение доказательств и улик или важности преступления. Таким образом, в силу этих этических требований, прокурор приглашается сказать свое слово даже в опровержение обстоятельств, *казавшихся*, при предании суду, сложившимися против подсудимого, при чем в оценке и взвешивании доказательств он вовсе не стеснен целями обвинения. Иными словами ему сказано, что он *говорящий публично судья*. На обязанности его лежит сгруппировать и проверить все изобличающее подсуди-

мого и, если подведенный им итог с необходимым и обязательным учетом всего, говорящего в пользу обвиняемого, создаст в нем убеждение в виновности последнего, заявить о том суду. Сделав это надо в связном и последовательном изложении, со спокойным достоинством исполняемого долга, без пафоса, негодования и преследования какой-либо иной цели, кроме правосудия, которое достигается не непременным *согласием* суда с доводами обвинителя, а непременным *выслушанием* их.

Таким взглядом на свои обязанности было проникнуто большинство членов прокуратуры в столицах и провинции в первое десятилетие судебной реформы. Тогда в устах прокурора слово „проиграл дело" по случаю оправдательного приговора было бы большим диссонансом со всем характером деятельности; тогда еще не успел проявить свое действие министерский циркуляр, требовавший отчета о числе и причине оправданий по обвинениям, поддержанным тем или другим лицом. Когда один из товарищей прокурора придя сказать мне об исходе своего обвинения в ряде мошенничеств, сказал мне: „ну, хоть я и проиграл, но зато *ему* всю морду сапогом вымазал,—останется доволен", разумея под *ним* подсудимого; я устранил его от выступлений в качестве обвинителя, возложив на него другия обязанности. „Пройтись на счет подсудимого", без сомнения, иногда бывает соблазнительно, особенно в тех случаях, когда обвинитель глубоко убежден в его виновности и возмущен его поступком, как отражением нравственной непригодности личности обвиняемого. Но этому соблазну не следует поддаваться. На государстве лежит задача охранения общества, между прочим, преследованием нарушителей закона, и практиче-

ское служение этой важной задаче выпадает в судебном состязании на долю прокурора-обвинителя. Исполняя свой тяжелый долг, он служит обществу. Но это служение только тогда будет полезно, когда в него будет внесена строгая нравственная дисциплина, и когда интерес общества и человеческое достоинство личности будут ограждаться с одинаковою чуткость и усердием. Знаменитый московский митрополит Филарет в своей речи „о назидании ссыльных", говорит, что относиться к преступнику надо „с христианскою любовью, с простотою и снисхождением и остерегаться всего, что унижает или оскорбляет: низко преступление, а человек достоин сожаления". Но если таково должно быть отношение к *осужденному* преступнику, составляющее одну из прекрасных нравственных черт русского народа—то нет никакого основания иначе относиться к *подсудимому*. А это должно неминуемо отражаться на формах и приемах обвинительной речи, нисколько не ослабляя ея правовой и фактической доказательности.

Поэтому в обвинительной речи совершенно недопустима насмешка над подсудимым или употребление относительно него тех эпитетов, которые могут найти себе место для характеристики его личности и действий в частном разговоре лишь после того, как о нем состоится обвинительный приговор. Точно так же неуместен и юмор в речи прокурора. Не говоря уже о том, что это оружие—обоюдоострое и требующее в обращении с собой большого уменья, тонкого вкуса и специального дарования, юмористические выходки, к которым, к слову сказать, нередко прибегали поверенные гражданских истцов—противоречат той „печали трезвой мысли зрелой", которою должна быть про-

никнута речь понимающего свои обязанности обвинителя.

Мне вспоминается, как в одном весьма серьезном процессе, разбиравшемся в Судебной Палате, защитник, пробовавший внести юмор в свою речь и постоянно цитировавший куплеты из „Стряпчего под столом"—был остановлен угрюмым замечанием старшего председателя: „не довольно ли водевилей"? В другом, тоже крупном деле, поверенный гражданских истцов, разбирая в своей речи вредное для него показание свидетеля, принявшего участие в 1871 году в восстании коммуны в Париже, сказал, стараясь вызвать веселое настроение в публике: „но ведь что такое этот свидетель?—это бывший коммунар, а коммунары такие люди, что один известнейший писатель сказал, что если бы их накрыть стеклянным колпаком, то они перегрызли бы друг друга". На вопрос мой при встрече: кто этот *известнейший* писатель? он весело отвечал мне: „а я почем знаю". Нельзя того-же, что об юморе, сказать про иронию. Там, где она имеет своим источником лживые об'яснения подсудимого и свидетелей, направленные к тому, чтобы „втереть очки", ирония может служить хорошим средством для яркого и образного разоблачения обмана.

Отчеты об уголовных процессах показывают, однако, что в отношение к подсудимому иногда начинала вноситься развязность тона, которая, по моему мнению, не находит себе оправдания в задачах обвинителя. Нет сомнения, что для характеристики подсудимого прокурор имеет право пользоваться данными, почерпнутыми из предосудительных сторон его деятельности, выразившихся в руководящих побуждениях его преступного дея-

ния, и что он может делать выводы из справок о судимости по однородным делам. Но касаться наружности подсудимого или копаться в его прошлом, не имеющем прямого отношения к рассматриваемому делу, или почерпать материал для характеристики в отношении к подсудимому тех или других общественных сфер — значит злоупотреблять своим положением. Поэтому в моих ушах прокурора старых времен болезненно звучат такие, например, эпитеты, как „героиня бульварной прессы", „львица Биржевых Ведомостей",—„престарелая прелестница, промышлявшая своими дряхлеющими прелестями и своим влиянием на сиятельных старичков". или удивление товарища прокурора, что среди людей могут существовать такие суб'екты, как подсудимый, „являющий собою нечто худшее, чем даже тигр—враг человечества", или, наконец, название подсудимого морским чудищем. Вообще обращение к специальным областям знания—к физике, химии, астрономии, зоологии и т. п. должно покоиться на точном знании того, о чем говорится, иначе примеры из этих областей могут оказаться крайне неудачными. Весьма тяжело слышать или видеть, когда обвинитель не брезгает в своих целях ничем, подобно Осипу в „Ревизоре", говорящему: „давай и веревочку—и веревочка пригодится". Мне пришлось председательствовать по делу, в котором талантливый товарищ прокурора Палаты Муравьев. сделавший затем блистательную и влиятельную карьеру, желая „доехать" подсудимого обвинявшегося в подделке акций, ставил ему в вину найденный в его бумагах счет маленького портного с заголовком—*Его Сиятельству Н. Н.* Обвинитель усматривал в этом стремление подсудимого присвоить себе непринадлежащий титул

за что и выслушал заслуженную и серьезную отповедь защитника, напоминавшего оратору кое-что из его собственной биографии и обратившего внимание присяжных на привычку извозчиков-лихачей, обращающихся ко всем хорошо одетым седокам с этим же самым титулованием.

Если по отношению к личности подсудимого можно желать спокойной сдержанности обвинителя, сильного в доводах, а не в эпитетах, то еще более можно требовать от последнего уважения к суду представителей общественной совести. Решения присяжных заседателей, конечно, не всегда безупречны с точки зрения соответствия их ответа на вопрос о виновности с данными, собранными против обвиняемого, который при том нередко и сам сознался. Но не надо забывать, что этот ответ подсказывается господствующими в обществе воззрениями и чувствами, отражая в себе нравственное состояние самого общества, коего присяжные „плоть от плоти и кость от кости"—и что слова: „нет, не виновен" пишутся, как итог соображения уже перенесенных подсудимым страданий, долговременного лишения свободы и той неуловимой, но обязательной житейской правды, в силу которой под справедливостью разумеется не одно лишь возмездие. „Qui n'est que juste—est cruel", справедливо говорят французы. Поэтому среди решений присяжных встречались такие, с которыми—с правовой точки зрения—трудно согласиться, но не было таких, которых нельзя было бы об'яснить, а следовательно и понять. Высоко ценя суд присяжных, как общественное учреждение, и считая непозволительным относиться с упреком к голосу их внутреннего убеждения, выработанного нередко тяжелым трудом участия в судебном заседании, прокуратура

моего времени никогда не решалась высказывать присяжным порицание за их приговоры. А между тем впоследствии зачастую встречались в печати указания на то, что в обвинительной речи товарищ прокурора, ссылаясь на предшествовавший оправдательный приговор, говорил: „сегодня вы уже оправдали одного грабителя“, или: „после того, как вы уж оправдали мошенника“, или заканчивал свою речь словами: „впрочем, принимая во внимание ваш оправдательный вердикт по первому делу, не стоит говорить, как вам поступить с подсудимым“. Последствием таких заявлений бывала просьба присяжных о занесении в протокол оскорбительного к ним отношения представителя обвинительной власти.

Особого такта и выдержки требует и отношение обвинителя к противнику в лице защитника. Прокурору не приличествует забывать, что у защиты, теоретически говоря, одна общая с ним цель содействовать, с разных точек зрения, суду в выяснении истины доступными человеческим силам средствами, и что добросовестному исполнению этой обязанности, хотя бы и направленному к колебанию и опровержению доводов обвинителя, никоим образом нельзя отказывать в уважени. Это прекрасно понималось в первые годы существования новых судов и я лично с искренним чувством симпатии и уважения вспоминаю своих, ныне покойных, противников в Харькове, Казани и Петербурге. Мы часто горячо и убежденно боролись, но никогда ни мне, ни моим товарищам не приходилось слышать по своему адресу каких-либо личных упреков, инсинуаций или задорных выпадов, и думаю, что и никому из нас поставить в вину что-либо подобное тоже было невозможно.

БИБЛИОТЕКА

Как живой проходит передо мною покойный Владимир Данилович Спасович с его резкими угловатыми жестами, неправильными ударениями над непослушными, но вескими словами, которые он вбивал, как гвозди, в точно соответствующия им понятия,—с чудесной архитектурой речей, в которых глубокая психология сливалась с долгим житейским опытом. Из каждого нашего состязания с ним я выносил поучительный пример строго нравственного отношения к приемам и формам судебной борьбы и воспоминание о широких горизонтах философских, социальных и даже естественно-научных знаний, которыя он так искусно умел открывать взору слушателя сквозь лесную чащу фактических данных дела. С ним мне чаще всего приходилось состязаться, или, как он любил выражаться, „скрещивать шпаги". Но на чью бы сторону из нас ни склонялись весы приговора, я возвращался домой благодарным учеником моего первого профессора уголовного права. Не раз после жарких прений, в которых мы, не задевая лично друг друга, наносили взаимно чувствительные удары, мы ехали к нему в заседание неофициального тогда юридического общества, собиравшегося у него на квартире, и общими силами разрабатывали различные вопросы в духе Судебных Уставов. В моих „Судебных речах" [1]) и в пятом томе сочинений Спасовича помещены судебныя прения по делу Янсен и Акар, обвиняемых во ввозе в Россию фальшивых кредитных билетов, и по делу Егора Емельянова, обвиняемого в утоплении своей жены, которыя характеризуют приемы и способы борьбы между нами. По обоим делам последовали обвинительные приговоры. В деле Емельянова, по окончании судебного следствия, Спасович сказал

мне: „вы, конечно, откажетесь от обвинения: дело не дает вам никаких красок—и мы могли бы еще сегодня собраться у меня на юридическую беседу.—Нет, отвечал я ему, краски есть: они на палитре самой жизни и в роковом стечении на одной узкой тропинке подсудимого. его жены и его любовницы". Несмотря на горячия нападения Спасовича на то, что он называл „романом, рассказанным прокурором", присяжные согласились со мной, и Спасович подвез меня домой, дружелюбно беседуя о предстоявшем на другой день заседании юридического общества, где должен был разбираться запутанный в то время вопрос о существе самоуправства. Вспоминаю я Буймистрова с его содержательным и веским словом,—взволнованную и изящную, всегда проникнутую искренним чувством речь Языкова,—тонкое словесное кружево Хартулари и красивую, живую речь Герарда. Конечно, дело не обходится и без комических воспоминаний. Так восстает в них предо мною очень образованный и словообильный защитник, речи которого, богатыя историческими ссылками и не всегда удачными цитатами из Священного Писания, скорее походили на горячия публицистическия статьи, при чем его пафос не достигал своей цели вследствие странного расположения определений, которыя шли обыкновенно в убывающем по силе порядке. „Господа присяжные"! восклицал он: „положение подсудимого пред совершением им преступления было поистине *адское*. Его нельзя не назвать *трагическим* в высшей степени. *Драматизм* состояния подсудимого был *ужасен*; оно было *невыносимо*, оно было чрезвычайно

[1]) „Судебныя речи" изд. 4-ое. СПБ. 1906 г.

тяжело и, во всяком случае, по меньшей мере, *неудобно*". Защищая женщину имевшую последовательно ряд любовников и отравившую жену последнего из них, он, ссылаясь на прошлое подсудимой, просил об оправдании приводя в пример Христа, простившого блудницу, „зане возлюбила много", что дало повод обвинителю заметить, что защитник, повидимому, не различает разницы между *много* и *многих*.—Я не могу забыть и двух молодых адвокатов в Харькове. Один из них горячо протестовал против предложенной мною нисшей меры самого слабого, по Уложению, наказания за преступленне подсудимого, и на предложение суда высказаться, чего же он хочет,—по незнакомству с *лестницей наказаний* требовал перехода от арестантских отделений на *один* год к смирительному дому на *четыре* года и затем, запутавшись окончательно, стал просить перейти для своего клиента к следующему роду наказания, а когда оно оказалось заключением в крепости тоже на четыре года, то, безнадежно махнув рукой, бросил Уложение о наказаниях и сел на свое место. Другой же по делу об убийстве в драке,—при чем старшиной присяжных был бывший профессор уголовного права, отличавшийся в своих сочинениях очень тяжелым слогом, — желая блеснуть определением драки, сказал с большой уверенностью в себе: „Драка, господа присяжные заседатели, есть такое состояние, суб'ект которого, выходя из границ дозволенного, совершает вторжение в область охраняемых государством об'ективных прав личности, стремясь нарушить целость ея физических покровов повторным нарушением таковых прав. Если одного из этих элементов нет налицо, то мы не имеем юридического основания видеть во

взаимной коллизии субстанцию драки".—„Господа присяжные заседатели—должен был сказать я в своем возражении—я думаю, что вам всем известно—и, пожалуй, даже по собственному опыту из детства,—что такое драка. Но уж если нужно ее в точности определить, то позвольте вместо длинной формулы защитника сказать, что драка есть такое состояние, в котором одновременно каждый из участников наносит и получает удары".—„Что вы сделали! сказал мне с огорчением защитник, когда присяжные ушли совещаться: ведь я это определение составил совершенно в духе старшины—профессора и уверен, что он его оценил: недаром он так внимательно склонил голову на бок и одобрительно ею покачивал".

Составители Судебных Уставов разумели уголовную защиту, как *общественное служение*. В их глазах уголовный защитник представлялся как vir bonus, dicendi peritus, вооруженный знанием и глубокой честностью, умеренный в приемах, безкорыстный в материальном отношении, независимый в убеждениях, стойкий в своей солидарности с товарищами. Он должен являться лишь правозаступником и действовать только на суде или на предварительном следствии—там, где это допускается,—быть не слугою своего клиента и не пособником ему в стремлении уйти от заслуженной кары правосудия, но помощником и советником человека, который, по его искреннему убеждению, невиновен *вовсе* или *вовсе не так* и *не в том* виновен, как и в чем его обвиняют. Не будучи слугою клиента, защитник, однако, в своем общественном служении слуга государства, и может быть *назначен* на защиту такого обвиняемого, на помощь которому по собственному желанию он бы не при-

шел. И в этом случае его вполне бескорыстная роль почтенна, ибо нет такого падшего и преступного человека, в котором безвозвратно был бы затемнен человеческий образ и по отношению к которому не было бы места слову снисхождения. Говоря, при наличности доказанного преступления, о снисхождении—защитник исполняет свою обязанность—свою завидную обязанность: вызывать на ряду со строгим голосом правосудия, карающего преступное дело, кроткие звуки милости к человеку, иногда глубоко несчастному. К этому идеалу защитника более или менее стремились почти все из адвокатов, с которыми мне приходилось иметь дело, будучи прокурором. К сожалению, внешния обстоятельства, а отчасти неверный взгляд на смысл своей деятельности уже начинали способствовать образованию той наклонной плоскости, по которой постепенно начали двигаться многие малодушные пред соблазнительностью скорого и крупного заработка или заманчивостью дешевой и не всегда опрятной популярности. Учреждение присяжной адвокатуры, пришедшей на смену старинных ходатаев, крючкотворцев и челобитчиков с заднего крыльца—было встречено горячим общественным сочувствием. Но этому сочувствию был нанесен удар учреждением частных поверенных без высшего образовательного ценза и сословной организации, наводнивших адвокатуру и понизивших ея нравственный уровень в глазах публики, переставшей im Grossen und Ganzen различать два разных элемента, входивших в личный состав того, что ею разумелось под общим названием *адвокатов*. Этому содействовало и то, что у нас не было введено французское разделение на avocat и avouè, строго различающее судебные функции

адвоката от исполнительных функций поверенного, а к защите по уголовным делам допускались и совершенно чуждые адвокатуре люди, имеющие право быть представителями обвиняемых в уголовном суде без всякого нравственного или подготовительного ценза.

На ряду с этим в самой среде присяжных поверенных иногда стал проводиться взгляд на защитника, как на производителя труда, составляющего известную ценность, оплачиваемую эквивалентом в зависимости от тяжести работы и способности работника. Как для врача, в его практической деятельности, не может быть дурных и хороших людей, заслуженных и незаслуженных болезней, а есть лишь больные и страдания, которые надо облегчить,—так и для защитника нет чистых и грязных, правых и неправых дел, а есть лишь даваемый обвинением повод противопоставить доводам прокурора всю силу и тонкость своей диалектики, служа ближайшим интересам клиента и не заглядывая на далекий горизонт общественного блага. Эта теория, опровергаемая прежде всего разностью целей правосудия и целей врачевания, в применении ее на судебной практике создала не мало случаев, к которым можно было применить известный стих Некрасова: „Ликует враг,—молчит в недоуменьи—вчерашний друг, поникнув головой". Нельзя было без справедливой тревоги видеть, как в отдельных случаях защита преступника обращалась в оправдание *преступления*, при чем, искусно извращая нравственную перспективу дела, заставляли потерпевшего и виновного меняться ролями,—или как широко оплаченная ораторская помощь отдавалась в пользование притеснителю слабых, развратителю невинных, расхи-

тителю чужих трудовых сбережений или бессовестному обкрадыванию народа... В этих случаях невольно приходилось вспомнить негодующие слова пророка Исаии: „горе глаголющим лукавое быти доброе и доброе—лукавое, полагающим тьму свету и свет тьме". Были основания для такой тревоги и в тех случаях, когда действительные интересы обвиняемого и ограждение присяжных заседателей, от могущих отразиться на достоинстве их приговора увлечений приносились в жертву эгоистическому желанию возбудить шумное внимание к *своему* имени, или делалась попытка человека, а иногда и целое учреждение, обратить в средство для личных и в конце концов корыстных целей. Нередко во всех этих случаях щедро оплаченный язык ораторов оправдывал себя словами короля Лира: „Нет в мире виноватых". Но люди, прячущиеся за этот афоризм, вероятно, забывали, что ему предшествуют следующие слова: „под шубой парчевою нет порока!—закуй злодея в золото—стальное копье закона сломится безвредно;—одень его в лохмотья—и погибнет он от пустой соломенки пигмея!"

Было бы однако в высшей степени несправедливо обобщать эти случаи и поддерживать, на основании такого обобщения, неблагоприятный и нередко даже враждебный взгляд на такую необходимую жизненную принадлежность состязательного процесса, как защита. Нельзя забывать те достойные глубокого уважения имена, которые оставили и оставят свой нравственный след в рядах адвокатуры, и ту постоянную и вполне бескорыстную работу, которую, нередко с большим напряжением сил, приходилось и приходится нести членам этой адвокатуры, защищая подсудимых по

назначению от суда в огромном числе дел. Поэтому нельзя не отнестись с крайним сожалением к тем случаям, когда с прокурорской трибуны раздавались намеки и даже прямые указания на то, что защита руководится лишь денежными соображениями,—когда, например, говорилось присяжным, что „уверения защитника в невинности обвиняемого вызваны не столько убеждением, сколько крупным гонораром", или что „к психиатрическим экспертизам защитники прибегают в тех случаях, когда хотят вырвать из рук правосудия своего клиента, которого никоим образом оправдать нельзя", или указывается на то, что защитники способны „своими закупленными руками на массаж закона и массаж подзащитных". Оскорбление противника обвинением, бросаемым ему лично или сословию, к которому он принадлежит, вносит в судебные прения крайнее раздражение и яд оскорбленного самолюбия. Неудивительно поэтому, что по одному делу, как видно было из сообщения газет южной России, защитник, на заявление товарища прокурора о большом гонораре, заставляющем прибегать к искажению истины, ответил расценкою речи обвинителя соответственно времени, употребленному на ее произнесение и получаемому последним содержанию, и определил ее стоимость в *пятиалтынный*

Главным образом должны быть признаны недопустимыми в речах обвинителя выходки по поводу племенных или вероисповедных особенностей подсудимого и об'яснение его действий свойствами народности, к которой он принадлежит, при чем эти свойства с непродуманной поспешностью, в качестве огульного обвинения, являются результатом обобщения отдельных, не связанных между

собою случаев и суб'ективных впечатлений оратора. В бытность мою обер-прокурором уголовного кассационного департамента я несколько раз самым энергическим образом выступал против таких приемов, и Сенат, в интересах истинного правосудия, кассировал приговоры, состоявшиеся после *таких* обвинительных речей. Сюда же надо отнести—наравне со стремлением расшевелить в присяжных религиозную или племенную обособленность— во-первых—запугивание присяжных результатами их оправдательного приговора; во-вторых—пользование их малой юридической осведомленностью, в-третьих—пренебрежительное отношение к их, имеющему последовать, решению, в-четвертых—личное удостоверение пред ними таких обстоятельств, которые имеют характер свидетельских показаний, облеченных в форму действующей на воображение картины, и в-пятых—пользование поведением подсудимого на суде, как уликою против него. Мне вспоминается шустрый провинциальный прокурор, хвалившийся тем, что умеет говорить с присяжными понятным им языком, а не „разводить,—как он выражался,—антимонию". По делу о *шайке* конокрадов, наличность которой отрицала защита, он обратился к присяжным со следующими словами: „вот вам говорят, что здесь нет шайки, а простое стечение виновных в одном преступлении; однако, господа присяжные, посчитайте-ка по пальцам—сколько тут подсудимых?!—Один, два, четыре, шесть, семь!—ну, как же не шайка?!—Вам говорят,—продолжал он,—что вина их не доказана и просят об их оправдании. Что-ж! оправдайте—воля ваша! Только вот что я вам скажу: смотрю я в окошко и вижу на дворе ваших лошадей, и брички, телеги и нетычанки, в которых вы собра-

лись со всех концов уезда и собираетесь уехать домой. Что-ж! оправдайте:—пешком уйдете!..“ В 1903 году товарищ прокурора одного из больших поволжских судов, в обвинительной речи своей сказал: „я согласен, что улики, пред'явленные против подсудимых, малы и ничтожны,—скажу даже более, что будь я вместе с вами, г-да присяжные, в вашей совещательной комнате, то я, конечно, как судья, должен был бы признать эти улики недостаточными для обвинения. Но как представитель обвинения, а следовательно представитель общества и государства, я поддерживаю, тем не менее, обвинение против подсудимых и громко заявляю, что и на будущее время при столь же малых уликах я буду составлять обвинительные акты: слишком уж много краж развелось за последнее время, и мы будем оберегать от них общество, засаживая в предварительное заключение заподозренных воров-рецидивистов, хотя бы и по таким уликам“. В старые годы такое заявление в устах лица прокурорского надзора было немыслимо, как по своему цинизму, так и по совершенному извращению задач обвинителя на суде.

Нужно ли говорить о том, как осторожно и в каких узких пределах допустимо взвешивать поведение подсудимого на суде? В моей ранней практике был случай, послуживший мне в этом отношении тяжелым и поучительным уроком. В качестве молодого товарища прокурора харьковского Окружного Суда я обвинял одного мещанина в растлении тринадцатилетней девочки. Подсудимый отрицал свою вину, а эксперты, как тогда часто случалось, совершенно разошлись в своих мнениях. В то время, когда потерпевшая девочка со слезами рассказывала про гнусность, над нею

проделанную, а ее мать с волнением описывала непосредственные признаки преступления, виденные ею по горячим следам, подсудимый, сидевший против меня у противоположной стены судебного зала, не только улыбался, но не слышно смеялся во весь рот... То же самое делал он и во время убийственного для него показания эксперта, профессора Питры. Возражая защитнику, который ссылался на свидетельства соседей подсудимого, говоривших, что последний — человек скромный, доброго поведения и богобоязненный, я сказал присяжным, что эти его свойства едва ли подтверждаются его поведением на суде, где скорбь матери и слезы дочери не возбуждают в нем ничего, кроме смеха. Защитник не возражал, и присяжные ушли совещаться. „Я вас не узнаю,— сказал мне почтенный член суда, старик М. И. Зарудный:—что это вы так на него напали? ведь он вовсе не смеется а плачет все время. У него от природы или от какого-нибудь несчастного случая рот до ушей—и судорога лица, сопровождающая слезы, вызывает гримасу, похожую на смех. Я сидел к нему гораздо ближе, чем вы, и мне это было ясно видно". Подойдя вплотную к месту подсудимого, я убедился в справедливости слов Зарудного и с ужасом представил себе, что присяжные могли разделить мое заблуждение и что слова мои легли тяжелым камнем на чашу обвинения. Пословица говорит: „кто в море не бывал—тот богу не маливался". Она применима, однако, и к другим случаям жизни—и я испытал это в данном случае на себе. Вернуть присяжных было невозможно по отсутствию законного повода—и те полчаса, которые они совещались, показались мне целой вечностью. Я решил в душе выйти в от

ставку, если приговор будет обвинительный... Мое взволнованное и вместе удрученное состояние разрешилось невольными слезами благодарности судьбе, когда я услышал слова: „нет,—не виновен".

Наконец, в речи обвинителя не должно находить себе места личное самолюбие, ищущее себе удовлетворение в том, что суд или присяжные заседатели заявляют в своем приговоре о согласии с его доводами. Представитель обвинения по существу своих обязанностей не может быть лично заинтересован в исходе дела. Возможны случаи, когда этим обязанностям не противоречить и содействие подсудимому в представлении на суде данных для оправдания, если только таковыя действительно существуют. Первым делом, назначенным к слушанию в казанском Окружном Суде в 1870 году, вскоре после его открытия, было дело Каляшина и Беловой, обвиняемых в отравлении и задушении мужа последней. В воспоминаниях об *экспертизе* [1]) мною указаны те разноречия между сведущими людьми, которыя возникли в судебном заседании. Присяжные заседатели сразу встретились с обвинением, основанным на косвенных уликах. Я считал себя обязанным сказать представителям общественной совести следующее: „для того, чтобы обсуждение преступления было возможно для вас, господа заседатели, надо исследовать все обстоятельства дела до мельчайших подробностей, сопоставить и сгруппировать их, пояснить одно другим, и из всего этого сделать вывод о виновности лица. Чтобы выяснить пред вами все темныя стороны дела, существует особое учреждение—прокурорский надзор, имеющий на суде

1) „Суд-наука-искусство", Петербург, 1923 г.

особую власть—обвинительную. Не обвиняя во что бы то ни стало, не стремясь непременно добиться от вас тяжелого приговора, обвинитель шаг за шагом идет по пути, пройденному преступлением, поверяет вам свои наблюдения и выводы и, придя к убеждению в виновности подсудимого, обязывается высказать вам это убеждение. Если защита найдет светлыя стороны в деле и обнаружит обстоятельства, которыя иным, более отрадным лучом озарят действие подсудимого, и заставят вас не поверить его виновности или сильно усомниться в ней—то вы *должны его оправдать* а, у представителя обвинительной власти останется сознание, что он сделал все, что следовало для выполнения своей трудной и подчас очень тяжелой обязанности. Но если факты—молчаливые, но многозначительные факты—не будут опровергнуты; если вы не почувствуете в сердце своем невиновности подсудимых, и если в вашем уме не возникнет основательных сомнений в их виновности, то вы, спокойно исполняя свою задачу быть судьями и защитниками общества от двух одинаковых опасностей—безнаказанности очевидного преступления и осуждения неповинного—согласитесь с обвинителем и произнесете обвинительный приговор".

Такого взгляда я держался в течение всей моей восьмилетней прокурорской деятельности, глубоко сознавая, что для истинной справедливости нет ничего опаснее, как выветривание из основных приемов отправления правосудия возвышающей их человечности. Там, где справедливость и правосудие не сливаются в единое понятие, где возможно повторить слова Бомарше, влагаемыя в уста Фигаро и обращенныя к судебному деятелю: „ рассчитываю на вашу справедливость,

хотя вы и служитель правосудия"—там общественный быт поколеблен в своих нравственных основаниях. Я имел радость сознавать, что мои многочисленные товарищи, за небольшими исключениями, разделяли и осуществляли мои воззрения. Думаю, что правосудие от этого ничего не проиграло, а спокойное достоинство обвинительной власти несомненно выигрывало и в глазах суда, и в общественном мнении. Обязанность прокурора, находящего оправдания подсудимого уважительными, не поддерживать обвинительный акт, опровергнутый судебным следствием, заявив о том суду по совести,—являет собою одно из лучших выражений того духа живого беспристрастия, который желали упрочить в судебной деятельности составители Судебных Уставов. Они не ограничились предоставлением прокурору *права* отказа от обвинения, но вменили ему это в *обязанность*, предусмотрев при этом и оба вида судебного состязания—судебное следствие и прения. Обвинительный акт, опирающийся на различныя доказательства, между которыми главное место занимают свидетельския показания, может оказаться лишенным всякой силы—когда эти доказательства при разработке их судом на перекрестном допросе,—при обозрении их или при экспертизе предстанут совсем в другом виде, чем тот, который они имели в глазах обвинителя, составлявшего акт. Данныя обвинительного акта могут остаться и нетронутыми, но то, что будет приведено защитой подсудимого или им самим в свое оправдание, может до такой степени правдиво изменить житейский облик подлежащего суду поступка, установив на него иную точку зрения, что поддержание обвинения во что бы то ни стало являлось бы дей-

ствием не только бесцельным, но и нравственно недостойным. Достаточно указать хотя бы на случай, где первоначальное обвинение в убийстве вырождается в наличность необходимой обороны или такой неосторожности, которую по справедливости, в виду условий и обстановки происшествия, невозможно вменить в вину и т. п. Чуждые установлению каких-либо формальных рамок, составители Судебных Уставов мерилом необходимости отказа от обвинения, в возвышенном доверии к духовному складу судебных деятелей, поставили единое внутреннее убеждение прокурора, предоставив ему находить побуждения к отказу в голосе его совести. Конечно, такой отказ не должен быть поспешным и непродуманным или, точнее говоря, непрочувствованным; точно так же он не может быть голословным и нуждается в мотивировке. Сколько мне известно, в судебной практике отказы от обвинения были не часты, а в первые годы существования новых судов эти отказы сопровождались иногда оригинальными последствиями. Так в 1866 году, когда в стенах московского Окружного Суда по делу об убийстве впервые было заявлено товарищем прокурора об отказе от обвинения, Окружной Суд без дальных околичностей об'явил подсудимых свободными от суда, предоставив, таким образом, прокурору, а не присяжным заседателям, решить судьбу подсудимого. Между тем присяжные заседатели иногда относились к подобным отказам вполне самостоятельно. Мне пришлось это испытать на себе в Харькове. В летнюю сессию присяжных заседателей рассматривалось дело о крестьянине Кухарчуке, обвиняемом в краже с повозки в пути. День был душный дело—четвертое по порядку—было начато слуша-

нием в семь часов вечера. Присяжные были уже, очевидно, утомлены, а на перекрестном допросе доказательства обвинения разваливались одно за другим. Я решил отказаться от обвинения и заявил об этом суду, в сжатом изложении сопоставив данные обвинительного акта с их существенным изменением на суде. К несчастью для подсудимого, защитником был кандидат на судебные должности, весьма добросовестный и знающий человек, но обладавший тем, что называется *суконным* языком. Это была его первая защитительная речь, очевидно, написанная заранее и неоднократно просмотренная. Вероятно, уже за несколько дней до заседания он учил ее наизусть и даже, быть может, уподобляясь Мольеру, читал ее своей кухарке или кому-нибудь из близких, заранее волнуясь в ожидании своего maiden speech. Мой отказ от обвинения разбивал его тревожные надежды, и, жалея потраченный труд, он решил не ограничиться присоединением к моему заявлению. И вот, в течение почти полутора часа, медлительно и нудно потекла его речь. Он не замечал невольных знаков нетерпения со стороны судей и некоторых из присяжных и так вошел в свою роль, что совершенно забыл о моем заявлении. „Напрасно обвинитель силится утверждать, что подсудимый виновен“... процитировал он с унылым пафосом заранее написанное место своей речи, обращаясь в мою сторону, после того, как я отказался от обвинения. Я едва удержался, чтобы не рассмеяться, невольно вспомнив только что появившийся тогда рассказ Щедрина, в котором один из обывателей, пришедших к новому градоначальнику на поклон, поветствует, как последний, выйдя к ним, крикнул: „пикните вы только у меня!“—и прибавляет: „а

мы, сударь, и не пикали". После краткого напутствия председателя, присяжные ушли совещаться, а через четверть часа вынесли вердикт, гласивший: „да, виновен". По особой милости судьбы в деле нашлись кассационные поводы, уваженные Сенатом. Первое время деятельности новых судов высшая прокуратура относилась к отказам от обвинения неодобрительно. Мне известно несколько таких случаев, и лично я должен был, будучи товарищем прокурора в Петербурге, давать по требованию прокурора Палаты, об'яснение оснований, по которым я отказался поддерживать обвинение, изложенное в определении Судебной Палаты. Бывали, впрочем, и обратные случаи, и мне пришлось однажды по одному харьковскому делу, волновавшему на месте сословные страсти, имевшие отголосок и в Петербурге, решительным образом отклонить высокое и влиятельное служебное предложение принять на себя обвинение с тем, чтобы на суде от него отказаться.

Обращаясь мысленно от приемов обвинения по *существу*, которых я держался, стараясь быть последовательным в своем взгляде на прокурора, как на говорящего судью — к созданию и к выработке *внешней* их оболочки—я не могу не припомнить беседы с воспитанниками выпускного класса училища Правоведения после одной из моих лекций по уголовному процессу в конце семидесятых годов. Они спрашивали меня, что им—готовящимся к судебной деятельности—нужно делать, чтобы стать красноречивыми. Я отвечал им, что если под красноречием разуметь дар слова, волнующий и увлекающий слушателя красотою формы, яркостью образов и силою метких выражений, то для этого нужно иметь особую способность, частью прирожденную, частью же являющуюся резуль-

татом воспитательных влияний среды, примеров, чтения и собственных переживаний. Дар красноречия, по мнению Бисмарка,—который хотя и не был красноречив сам, но умел ценить и испытывать на себе красноречие других,—имеет в себе увлекающую силу, подобно музыке и импровизации. „В каждом ораторе,—говорил он,—который действует красноречием на своих слушателей, заключается поэт и только тогда, когда он награжден этим даром и когда, подобно импровизатору, он властно повелевает своему языку и своим мыслям, он овладевает теми, кто его слушает". Поэтому невозможно преподать никаких советов, исполнение которых может сделать человека красноречивым. Иное дело уметь говорить публично, т. е. быть *оратором*. Это уменье достигается выполнением ряда требований, лишь при наличности которых можно его достигнуть. Этих требований или условий, по моим наблюдениям и личному опыту, три: нужно знать предмет, о котором говоришь, в точности и подробности, выяснив себе вполне его положительные и отрицательные свойства; нужно знать свой родной язык и уметь пользоваться его гибкостью, богатством и своеобразными оборотами, при чем, конечно, к этому знанию относится и знакомство с сокровищами родной литературы.— По поводу требования знания языка я ныне должен заметить, что приходилось слышать мнение, разделяемое многими, что это дело таланта: можно знать язык и не уметь владеть им. Но это неверно. Под знанием языка надо разуметь не богатство Гарпагона или Скупого рыцаря, об'ятое „сном силы и покоя" на дне запертых сундуков, а свободно и широко тратимые, обильные и даже неисчерпаемые средства. „Когда мы прониклись идеею, когда ум

хорошо овладел своею мыслью—говорит Вольтер—она выходит из головы вполне вооруженною подходящими выражениями, облеченными в подходящие слова, как Минерва, вышедшая вся вооруженная из головы Юпитера„. В записках братьев Гонкур приводятся знаменательные слова Теофиля Готье: „я бросаю мои фразы на воздух, как кошек, и уверен, что они упадут на ноги... Это очень просто, если знать законы своего языка". У нас в последнее время происходит какая-то ожесточенная порча языка, и трогательный завет Тургенева о бережливом отношении к родному языку забывается до очевидности. В язык вносятся новые слова, противоречащие его духу, оскорбляющие слух и вкус и притом, по большей части, вовсе не нужные, ибо в сокровищнице нашего языка уже есть слова для выражения того, чему дерзостно думают служить эти новшества. Рядом с этим протискиваются в наш язык иностранные слова взамен русских—и, наконец, употребляются такие соединения слов, которые, по образному выражению Гонкура, „hurlent de se trouver ensemble". *Неточностью* слога страдают речи большинства судебных ораторов. У нас постоянно говорят например „*внешняя* форма" и даже—horribile dictu—„для проформы". При привычной небрежности речи нечего и ждать правильного расположения слов, а между тем это было бы невозможно, если бы оценивался вес каждого слова во взаимоотношении с другими. Недавно в газетах было напечатано об'явление: „актеры-собаки" вместо „собаки-актеры". Стоит переставить слова в народном выражении „кровь с молоком" и сказать „молоко с кровью", чтобы увидеть значение отдельного слова, поставленного на свое место.—Наконец, сказал я,—

нужно *не лгать*. Человек лжет в жизни вообще часто, а в нашей русской жизни и очень часто, трояким образом: он говорит не то, что думает—это ложь по отношению к другим; он думает не то, что чувствует—это ложь самому себе, и, наконец, он впадает в ложь, так сказать, в квадрате: говорит не то, что думает, а думает не то, что чувствует. Присутствие каждого из этих видов лжи почти всегда чувствуется слушателями и отнимает у публичной речи ее силу и убедительность. Поэтому искренность по отношению к чувству и к делаемому выводу или утверждаемому положению, должна составлять необходимую принадлежность хорошей, т. е.—претендующей на влияние речи. Изустное слово всегда плодотворнее письменного: оно живит слушающего и говорящего. Но этой животворной силы оно лишается, когда оратор сам не верит тому, что говорит,—и, утверждая, втайне сомневается,—или старается призвать себе на помощь вместо зрелой мысли громкие слова, лишенные в данном случае внутреннего содержания. Слушатель почти всегда в этих случаях невольно чувствует то, что говорит Фауст: wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. Вот почему лучше ничего не сказать, чем сказать ничего. „Поэтому,—заключил я нашу беседу,—не гонитесь за красноречием. Тот, кому дан дар слова, ощутит его, быть может, внезапно, неожиданно для себя и без всяких приготовлений. Его нельзя приобресть, как нельзя испытать вдохновение, когда душа на него неспособна. Но старайтесь говорить хорошо, любите и изучайте величайшую святыню вашего народа—его язык. Пусть не мысль ваша ищет слова и в этих поисках теряет время и утомляет слушателей,—пусть, на-

против, слова покорно и услужливо предстоят пред вашею мыслью в полном ее распоряжении. Выступайте во всеоружии знания того, что относится к вашей специальности и на служение чему вы призваны, а затем—не лгите, т. е. будьте искренни, и вы будете хорошо говорить, или, как гласит французская судебная поговорка: „vous aurez l'oreille du tribunal".—Теперь, после долгого житейского опыта, я прибавил бы к этим словам еще и указание на то, что ораторские приемы совсем не одинаковы для всех вообще публичных речей, и что, например, судебному оратору и оратору политическому приходится действовать совершенно различно. Речи политического характера не могут служить образцами для судебного оратора, ибо политическое красноречие совсем не то, что красноречие судебное. Уместные и умные цитаты, хорошо продуманные примеры, тонкие и остроумные сравнения, стрелы иронии и даже под'ем на высоту обще-человеческих начал—далеко не всегда достигают своей цели на суде. В основании судебного красноречия лежит необходимость *доказывать* и *убеждать* т. е. иными словами—необходимость склонять слушателей присоединиться к своему мнению. Но политический оратор немногого достигнет, убеждая и доказывая. У него та же задача, как и у служителя искусств, хотя и в других формах. Он должен, по выражению Жорж-Занд, „montrer et émouvoir", т. е. осветить известное явление всею силою своего слова и, умея уловить создающееся у большинства отношение к этому явлению, придать этому отношению действующее на чувство выражение. Число, количество, пространство и время, играющие такую роль в критической оценке улик и доказательств

при разборе уголовного дела—только бесплодно отягощают речь политического оратора. Речь последнего должна представлять не мозаику, не тщательно и во всех подробностях выписанную картину, а резкие общие контуры и Рембрандтовскую светотень. Ей надлежит связывать воедино чувства, возбуждаемые ярким образом, и давать им воплощение в легком по усвоению, полновесном по содержанию слове.

Искать указаний—*как* надо говорить—в руководствах по части красноречия, по большей части, совершенно безполезно. У нас исследования о существе и приемах красноречия сводились, за исключением замечательного для своего времени труда Ломоносова „Краткое руководство к риторике на пользу любителей сладкоречия.—1744 и 1748 г.г.“, до конца шестидесятых годов к повторению теоретических положений и примеров, почерпаемых преимущественно у Квинтилиана и Цицерона, при чем почему-то забывалось превосходное „Рассуждение об ораторе“ Тацита. Попыток к самостоятельной разработке вопроса о красноречии вследствие отсутствия нового, практического материала—мы в литературе не встречаем. „Златослов или открытие Риторския науки“ 1798 г. и „Детская Риторика или благоразумный Витя“ 1787 г. не могут итти в сравнение с трудом Ломоносова, а „Риторика в пользу молодых девиц, которая равным образом может служить и для мужчин, любящих словесныя науки“, изданная в 1797 г. Григорием Глинкою, есть, в сущности, перевод сочинения Гальяра, лишь снабженный довольно ядовитыми замечаниями переводчика. Хотя Академия Наук в самом начале девятнадцатого столетия „старалась сочинить логику, риторику

и пиитику, „яко главныя основания словесных наук“, но это старание разрешилось одними благими намерениями. Лишь в 1815 году впервые на русском языке появилась составленная Феофилактом Малиновским книга, посвященная „Основаниям красноречия“. В следующем году тот же автор издал „Правила красноречия, в систематический порядок науки приведенныя и Сократовым способом расположенныя“. Для знакомства с этим первым опытом теории красноречия достаточно привести следующий ответ автора на вопрос о том, *какое качество должна иметь речь, удовлетворяющая потребности сердца.* Вот он: „сердце желает с готовою истиною войти в храм своего собственного удовольствия, почувствовав к ней какую-либо страсть, ибо единственная его потребность чувствовать, без сего оно терзается скукою. Из сего следует, что прекрасная речь имеет связь с нашим сердцем; дело оратора открыть путь, которым описываемый предмет входит во внутренность оного. Тогда он, говоря с ним и приводя его в движение, побеждает самовластие и преклоняет волю его без сопротивления на свою сторону“. Или вот как определяется *смешное*, как составная часть некоторых видов ораторской речи: „как скоро душа наша чувствует ничтожное насилие естественного или разумного, состоящее в действиях несходных с законами природы или хорошого произвола, то она, будучи уверена внутренно в непременности и в непоколебимости их, предчувствуя, что зла для нея от того не воспоследует, издевается над слабым усилием. ничтожность коего наполняет его веселостью и растворяет дух радостью, который ведет за собою физическое потрясение почти целого тела“. В том же году, в Москве, в типографии

Селивановского напечатана книга неизвестного автора: „Оратор или о трех главных совершенствах красноречия—ясности, важности и приятности", вся построенная на примерах из Цицерона. В ней заслуживает, однако, внимания указание на „выбор литер и слогов" для придания речи „важности", при чем рассуждение о том, что литера R приличествует материи печальной и страшной (terror, horror, horrendum), удивительным образом совпадает с об'яснениями Эдгара Поэ к его знаменитому стихотворению „Ворон". Дальнейший шаг был сделан Мерзляковым в его рассуждении 1824 года: „Об истинных качествах Поэта и Оратора"—и в речи профессора Петра Победоносцева „О существенных обязанностях Витии и о способах к приобретению успеха в Красноречии", произнесенной на годовом акте московского университета 3 июля 1831 года. Наконец, в 1844 году вышли „Правила высшего красноречия Сперанского, представляющия систематический обзор теоретических правил о красноречии вообще, изложенных прекрасным языком, но совершенно лишенных практической поучительности за отсутствием примеров. Из всех этих сочинений, не считая даже неудобочитаемых упражнений в элоквенции Малиновского, ничего или во всяком случае очень мало может извлечь судебный оратор.

Правила, оставленныя Квинтилиалом и Цицероном и выводимыя исключительно из их речей, в значительной мере неприемлемы для современного оратора. Древний грек и древний римлянин выросли в общественных условиях весьма отличных от тех, в которых развиваются современный европейский судебный оратор и его слушатели. И сами они и слушатели принадлежали к дру-

гому этнографическому типу. Многое из того, что у этих ораторов выходило вполне естественным, показалось бы в настоящее время неискренной декламацией. При том, как судебный оратор, Демосфен гораздо ниже Цицерона и в сущности в своих речах судебного характера едва ли стоит выше обыкновенного логографа. Он велик в защите погибавшего государственного строя против внешнего врага и внутреннего разложения. Речи его проникнуты альтруизмом, и слово его постоянно поднимается в область общих начал. Целям судебного красноречия гораздо более удовлетворяют речи Цицерона. Он ближе к делу, глубже в анализе мелочных фактов. Он более на земле, на практической почве, и в нем сильнее сказывается, тот „esprit de combefivitè", который составляет необходимую принадлежность судебного оратора, стремящагося к успеху. Одним словом, в его ораторских приемах всегда слышится прежде всего обвинитель или защитник. Чудесный стилист и диалектик, он одинаково искусно впадает в пафос или предается иронии или, наконец, ошеломляет противника яростными эпитетами. Достаточно вспомнить делаемыя им, сыплющияся как из рога изобилия, различныя характеристики в речах против Катилины: отравитель, разбойник, отцеубийца, фальсификатор, друг каждой проститутки, совлазнитель и убийца. Несомненно, однако, что большая часть этих приемов неприменима в современном суде.

Первым по времени трудом на русском языке, предназначенным для *судебных* ораторов, явилось „Руководство к судебной защите" знаменитого Миттермайера, перевденное и изданное в 1863 году А. М. Унковским. Несмотря на общия похвалы,

которыми встречено было это сочинение у нас, оно едва ли оказало услугу кому-либо из наших судебных ораторов. Исходя из мысли об учреждении в университетах особых каѳедр „для преподавания руководства к словесным прениям„, Миттермайер предлагает вниманию лиц, посвящающих себя уголовной защите, свой труд, чрезвычайно кропотливый, в значительной мере чисто теоретический и весьма несвободный от приемов канцелярского производства, несмотря на то, что у автора везде предполагается защита перед судом присяжных заседателей. Масса параграфов (сто тридцать шесть), разделяющихся на пункты A, B, C, распадающиеся в свою очередь на отделы, обозначенные греческими буквами, производит при первом взгляде впечатление широкого захвата и глубокой мысли, а в действительности содержит в себе элементарные правила обмена суждений, изложенные при том в самых общих выражениях. Среди этих правил попадаются, впрочем, и практические советы, поражающие своею наивностью. Такова, например, рекомендация защитнику не утаивать от подсудимого (sic!) грозящего ему наказания, как будто обвиняемый и защитник находятся в отношениях больного к врачу, при чем последний, во избежание осложнения недуга своего пациента, иногда скрывает от него его опасное состояние. Условиями судебного красноречия Миттермайер ставит наличность основательных доказательств, ясный способ изложения и очевидную добросовестность „в соединении с тем достоинством выражений, которое наиболее прилично случаю“. Поэтому он советует говорить защитительную речь по заранее заготовленной записке, избегая А) выражений плоских, Б) напыщенных, В) устарелых, Г) ино-

странных и Д) вообще всяких излишних нововведений, обращая при этом внимание на а) ударение, б) расстановки, в) различные тоны речи и г) телодвижения. Едва ли нужно говорить, что в таком определении красноречия, оно—употребляя выражение Тургенева—„и не ночевало". Доказательства могут оказаться весьма основательными (например, alibi, поличное, собственное признание), ясная мысль может быть облечена в „приличные случаю" выражения и не покушаться извращать истину—и тем не менее от речи будет веять скукой. Нужна яркая форма, в которой сверкает пламень мысли и искренность чувства. Наиболее живой отдел труда Миттермайера—это говорящий об отношении защитника к доказательствам, но и он гораздо ниже по содержанию, чем прекрасная, но, к сожалению, составляющая библиографическую редкость книга нашего почтенного криминалиста Жиряева „Теория улик", или богатое опытом и до сих пор не устаревшее сочинение Уильза „Теория косвенных улик".

С тех пор в оценках речей русских судебных ораторов, в заметках самих ораторов и в наставлениях начинающим адвокатам в различных специальных брошюрах появлялись указания на приемы и методы того или другого оратора или на его собственные взгляды на свою профессию. Но несмотря на ценность отдельных этюдов все это или отрывочно или, главным образом, сведено к оценке и выяснению свойств, таланта и личных приемов определенной личности. Лишь в последнее время появилось прекрасное систематическое по судебному красноречию сочинение П. С. Пороховщикова (Сергеича) „Искусство речи на суде" (1910 г.)

На первом плане я, конечно, считал нужным ставить изучение дела во всех его частях, вдумываясь в видоизменение показаний одних и тех же лиц при дознании и следствии и знакомясь особенно тщательно с вещественными доказательствами. Последнее—скучная и кропотливая работа, казавшаяся, порою безплодною, приносила, однако, во многих случаях чрезвычайно полезные результаты, имевшие решительное влияние на исход дела. Вещественные доказательства не только представляют собою орудия и средства, следы и плоды преступления, но вдумчивое сопоставление их между собою дает иногда возможность проследить постепенную подготовку преступления и даже самое зарождение мысли о нем. В целях правосудия это весьма важно, ибо не только дает опору обвинению, но и создает законную возможность отказа от него. В деле Янсен и Акар, обвинявшихся во ввозе в Россию фальшивых кредитных билетов, мне удалось выработать крайне вескую улику, сопоставляя между собою номера кредитных билетов, расположенных в двух партиях, направленных в отдаленные один от другого города; в деле о диффамации в печати семиреченского губернатора Аристова, по коему состоялся обвинительный приговор в Судебной Палате,—разбором официальной переписки о маленком народце „таранчах“, приобщенной, между прочим, к делу, удалось установить, что семиреченский губернатор вполне заслужил то, что он называл диффамацией,—и иметь удовольствие отказаться в Сенате от обвинения. Я уже не говорю о том, до какой степени разбор приобщенных к делам переписок, заметок, дневников и других рукописей обвиняемых или потерпевших дает возможность ознакомить суд с их лич-

ностью иногда их же собственными словами. Могу сослаться в этом отношении на характеристики скопца Солодовникова и ростовщика Седкова в моей книге „Судебные речи". Как председатель суда, я бывал не раз свидетелем прискорбных сюрпризов, которые создавались для сторон во время судебного заседания, вследствие незнакомства их с тем, что содержится в непросмотренных ими пакетах и свертках, лежащих на столе вещественных доказательств.

Отсутствие тщательного изучения дела не только грозит такими сюрпризами, но побуждает обвинителя прибегать иногда к приемам, о нравственном значении которых не может быть двух мнений. Я помню одного известного адвоката, ученого, талантливого и знающего,—в частной жизни, как говорят, доброго и готового на дружеские услуги,—но неразборчивого ни в свойстве дел, ни в свойстве приемов, вносимых им в судебное состязание. По громкому, волновавшему общество, делу о подлоге огромной важности он принял на себя обязанности гражданского истца и, придя ко мне вечером накануне заседания, просил дать ему прочесть дело, находившееся у меня, как у будущего обвинителя. „Какой том?—спросил я его.—А разве их много?—в свою очередь спросил он.—Четырнадцать,—да семь томов приложений и восемь связок вещественных доказательств.—Ах, чорт их возьми!.. где же мне все это разбирать... Но я изучил обвинительный акт: мастерски написан!—Так как мы имеем во многом общую задачу в деле, то скажите, как вы смотрите на эпизод с N. N.?—А в чем он состоит?—Да ведь ему исключительно посвящена целая глава обвинительного акта, который вы изучили...—По правде говоря, я его только перелистал,

но у меня будут *свои доказательства.*—В судебном заседании, длившемся целую неделю, он молчал все время судебного следствия и лишь при заключении его потребовал, чтобы было прочтено письмо одного из умерших свидетелей, находящееся *в таком-то томе, на такой-то странице,* в котором пишущий врач почти что сознается в содействии к отправлению на тот свет других свидетелей, опасных для богатого и влиятельного подсудимого. Это заявление произвело большое впечатление на присяжных и на публику, так как среди последней был пущен ни на чем не основанный слух, что неудобные для подсудимых свидетели „устранены из дела навсегда", а присяжные находились под впечатлением происшедшей у них на глазах смерти одного—очень волновавшегося — свидетеля, последовавшей от разрыва сердца. В месте, указанном поверенным гражданского истца, оказалась чистая страница. Он указал другой том производства, которого, как мне, из его же слов, было известно, даже не видал,— и там оказалась какая-то незначительная бумага,— а на гневный вопрос председателя, после того, как я и защитники заявили, что такого письма ни в деле, ни в вещественных доказательствах нет, об'яснил, что том и страница были у него записаны на бумажке, но ее у него „кто-то стащил", при чем снова повторил содержание вымышленного письма. На вопрос мой, в перерыв заседаний, зачем он ссылается на документы, которых в деле нет, он улыбаясь, цинично отвечал: „да и я знаю, что нет, но у присяжных всетаки кое что да останется"! Таковы были его „свои доказательства"!

Изучение и знание дела во всех его подробностях было, по крайней мере в начале семиде-

сятых годов, необходимо для проведения в жизнь возможно широким образом и в неприкосновенности основных начал деятельности реформированного суда—устности, гласности и непосредственности. Я помню заседание по одному очень сложному и серьезному делу, длившееся шесть дней в 1872 г. В деле была масса протоколов осмотров и обысков, показаний неявившихся свидетелей и множество документов, весьма нужных для судебного состязания. По закону, каждая из сторон могла требовать их прочтения, томительного и подчас трудно уловимого. Мы с К. К. Арсеньевым, стоявшим во главе защиты по делу, молчаливым соглашением решили почти ничего не читать на суде и провести весь процесс на строгом начале устности. Поэтому, во всех нужных случаях, каждый из нас с согласия противника, просил разрешения ссылаться на письменный материал, говоря присяжным: „г-да, в таком-то документе, протоколе или показании—есть такое-то место, выражение, отметка, цифра; прошу удержать их в памяти; если я ошибся, мой противник меня поправит". Таким образом мы провели все заседание, не *прочитав* присяжным ничего, но рассказали очень многое. Конечно, это требовало, кроме знания подробностей дела, большого напряжения памяти и взаимного уважения сторон. Но первая в то время у К. К. Арсеньева и у меня была очень сильна, а взаимное уважение само собою вытекало из одинакового понимания нами задач правосудия.

Ознакомясь с делом, я приступал прежде всего к мысленной постройке *защиты*, выдвигая перед собою резко и определительно все возникающие и могущие возникнуть по делу сомнения, и решал поддерживать обвинение лишь в тех случаях

когда эти сомнения бывали путем напряженного раздумья разрушены, и на развалинах их возникало твердое убеждение в виновности. Когда эта работа была окончена, я посвящал вечер накануне заседания исключительно мысли о предстоящем деле, стараясь представить себе, как именно было *совершено* преступление и в какой *обстановке*. После того, как я пришел к убеждению в виновности путем логических, житейских и психологических соображений, я начинал мыслить образами. Они иногда возникали предо мною с такою силой, что я как бы присутствовал невидимым свидетелем при самом совершении преступления, и это без моего желания, невольно, как мне кажется, отражалось на убедительности моей речи, обращенной к присяжным. Мне особенно вспоминается в этом отношении дело баньщика Емельянова, утопившего в речке Ждановке, для того, чтобы сойтись с прежней любовницей, свою тихую, молчаливую и наскучившую жену. Придя к твердому убеждению в его виновности (в чем он и сам после суда сознался), несмотря на то, что полиция нашла, что здесь было самоубийство, я в ночь перед заседанием, обдумывая свои доводы и ходя, по тогдашней своей привычке, по трем комнатам моей квартиры, из которых лишь две крайние были освещены, с такой ясностью видел, входя в среднюю темную комнату, лежащую в воде ничком, с распущенными волосами несчастную Лукерью Емельянову, что мне, наконец, стало жутко.

Речей своих я никогда не писал. Раза два пробовал я набросать вступление, но убедился, что судебное следствие дает такие житейские краски и так перемещает иногда центр тяжести изложения, что даже несколько слов вступления,

заготовленного заранее, оказываются вовсе не той *увертюрой*, выражаясь музыкальным языком, с которой должна бы начинаться речь. Поэтому, в отношении к началу и заключению речи, я держался поговорки: „как бог на душу положит". Самую сущность речи я никогда не писал и даже не излагал в виде конспекта, отмечая лишь для памяти отдельные мысли и соображения, приходившие мне в голову во время судебного следствия, и набрасывая схему речи, пред самым ее произнесением, отдельными словами или условными знаками, значения которых, должен сознаться, через два-три месяца уже сам не помнил и не понимал. Я всегда чувствовал, что заранее написанная речь должна стеснять оратора, связывать свободу распоряжения материалом и смущать мыслью, что что-то им забыто или пропущено. Профессор Тимофеев в своих статьях об ораторском искусстве не ошибается, говоря, что Спасович всегда писал свои речи: он действительно, подготовлял свои речи на письме, чем довольно коварно пользовались некоторые его противники, ограничиваясь кратким изложением оснований обвинения и выдвигая свою тяжелую артиллерию уже после того, как Спасович сказал свою речь, при чем его возражения,—конечно относительно,—бывали слабы. Писал свои речи и Н. В. Муравьев—крупным раздельным почерком, очень искусно и почти незаметно читая наиболее выдающиеся места из них. Обвиняя под моим председательством братьев Висленевых и Кутузова, судимых за подлоги он, после речей защиты, просил перерыва на два часа и заперся в моем служебном кабинете, чтобы писать свое возражение. Не надо забывать, что не только там, где личность подсуди-

мого и свидетелей изучается по предварительному следствию, но даже и в тех случаях, когда обвинитель наблюдал за следствием и присутствовал при допросах у Следователя, судебное заседание может готовить для него большие неожиданности. Нужно ли говорить о тех изменениях, которые претерпевает первоначально сложившееся обвинение и самая сущность дела во время судебного следствия? Старые свидетели забывают зачастую то, о чем показывали у Следователя, или совершенно изменяют свои показания под влиянием принятой присяги; их показания, выходя из горнила перекрестного допроса, иногда длящагося несколько часов, совершенно другими, приобретают резкие оттенки, о которых прежде и помину не было;—новые свидетели, впервые являющиеся на суд, приносят новую окраску обстоятельствам дела и выясняют данные, совершенно изменяющие картину события, его обстановки, его последствий. Кроме того, прокурор, не присутствовавший на предварительном следствии, видит подсудимого иногда впервые—и пред ним предстает совсем не тот человек, которого он рисовал себе, готовясь к обвинению или занимаясь писанием обвинительной речи. „В губернском городе судился учитель пения за покушение на убийство жены,—рассказывает из своего опыта П. С. Пороховщиков. Это был мелкий деспот, жестоко издевавшийся над любящей, трудящейся, безупречной супругой и матерью; насколько жалким представлялся он в своем себялюбии и самомнении, настолько привлекательна была она своей простотой, искренностью. Муж стрелял в нее сзади, сделал четыре выстрела и всадил ей одну пулю в спину, другую в живот. Обвинитель заранее рассчитывал на то негодование,

которое рассказ этой мученицы произведет на присяжных. Когда ее вызвали к допросу и спросили, что она может показать, она сказала: я виновата перед мужем, муж виноват передо мной,— я его простила и ничего показывать не желаю. *Я виновата—и я простила!* Обвинитель ожидал другого, ничего подобного он не предполагал, но надо сказать, что, сколько бы он ни думал, как бы ни искал он сильных и новых эффектов,—такого эффекта он никогда бы не нашел". Еще большие изменения может вносить экспертиза. Вновь вызванные сведущие люди могут иногда дать такое об'яснение судебно-медицинской стороне дела, внести такое неожиданное освещение смысла тех или других явлений или признаков, что из под заготовленной заранее речи будут вынуты все сваи, на которых держалась постройка. Каждый старый судебный деятель, конечно, многократно бывал свидетелем такой „перемены декораций". Если бы действительно существовала необходимость в предварительном письменном изложении речи, то возражения обыкновенно бывали бы бесцветны и кратки. Между тем в судебной практике встречаются возражения, которые сильнее, ярче, действительнее первых речей. Несомненно, что судебный оратор не должен являться в суд с пустыми руками. Изучение дела во всех подробностях, размышление над некоторыми возникающими в нем вопросами, характерныя выражения, попадающияся в показаниях и письменных доказательствах, числовыя данныя, специальныя названия и т. п. должны оставить свой след не только в памяти оратора, но и в его письменных заметках. Вполне естественно, если он, по сложным делам, набросает себе план речи или ея схему,—

своего рода vade mecum в лесу разнородных обстоятельств дела. Но от этого еще далеко до изготовления речи в окончательной форме. Приема неписания речей держался и известный московский прокурор Громницкий, говорящий в своих воспоминаниях о писанных речах, что оне „гладки и стройны, но бледны, безжизненны и не производят должного впечатления; это блеск, но не свет и тепло; это красивый букет искусственных цветов, но с запахом бумаги и клея". Мой опыт подтверждает этот взгляд. Из отзывов компетентых ценителей и из отношения ко мне присяжных заседателей,—отношения, не выражаемого внешним образом, но чувствуемого,—я убедился, что мои возражения, иногда нескольким защитникам сразу, сказанныя без всякой предварительной подготовки и обыкновенно, по просьбе моей, *немедленно* по окончании речей моих противников—производили наибольшее впечатление.

Еще до вступления в ряды прокуратуры я интересовался судебными прениями и читал речи выдающихся западных судебных ораторов, преимущественно французских, но должен сознаться, что мало вынес из них поучительного. Их приемы не подходят к природе русского человека, которой чужда приподнятая фразология и полемический задор. Замечание митрополита Филарета о том, что „народ наш не настроен к напряженному и продолжительному вниманию и краткое, близкое к разумению и сердцу, слово он берет и, не роняя, уносит", вполне справедливо. Этим об'ясняется частый неуспех тех, иногда весьма способных, ораторов, которые говорят по нескольку часов, подвергая присяжных заседателей своеобразному измору, при чем измор этот приводит зачастую

к неожиданным результатам или к знакам нетерпения, смущающим говорящего. Речь обвинителя должна быть сжата и направлена на то, чтобы приковывать внимание слушателей, но не утомлять их. Судебный оратор должен избегать того, что еще Аристофан в своих „Облаках“ называл „словесным поносом“, замечая, что „у человека с коротким умом язык обыкновенно бывает слишком долгий“. Мне вспоминается адвокат при одном из больших провинциальных Судов на Волге, который любил начинат свои речи аb оао. По делу о третьей краже, пред усталыми от предшествовавших дел присяжными, он, пользуясь апатичным невмешательством председателя, посвятил первый час своей речи на историю возникновения права собственности и на развитие этого понятия с древнейших времен в связи с развитием культуры. „Теперь перехожу к обстоятельствам настоящего дела“,—заключил он свой обзор и дрожащею от усталости рукою стал наливать себе стакан воды. Присяжные заседатели состояли, как нарочно, из купцов и мелких торговцев. Начинало смеркаться, наступало время закрывать лавки и подсчитывать выручку—и, вероятно, у многих из них мысль невольно обращалась к тому, что делает теперь „хозяйка“ и как управился оставленный вместо себя „молодец“. Когда наступила минута общего молчания перед переходом оратора от Египта, Рима и средних веков к „обстоятельствам дела“,—старшина присяжных с седою бородою и иконописной наружностью поднял давно уже опущенную голову, обвел страдальческим взглядом суд и оратора и, тяжело вздохнув, довольно громко, с явным унынием в голосе, произнес: „эхе-хе-хех-эхе“!—и снова опустил голову. „Я

кончил"! упавшим голосом сказал автор исторического исследования. Увы! непонимание опасности такого измора существовало, как видно, и до недавнего времени. В одном из судов Украйны товарищ прокурора, как удостоверено протоколом судебного заседания, сказал: „я чувствую, что суд недоволен моею речью и делает разного рода жестикуляции; я прошу отдыха и воды—я устал". Можно себе представить, как должны были устать и судьи, и сколько воды, сверх выпитой товарищем прокурора, оказалось в его речи...

По поводу „жестикуляций", так уязвивших бедного словоохотливого обвинителя, я должен заметить, что всегда считал вполне неуместными всякие жесты и говорил свои речи, опираясь обеими руками на поставленную стоймя книгу Судебных Уставов, купленную в 1864 году, тотчас по выходе ея в свет, и прошедшую со мною весь мой сорокалетний судебный путь. Не думаю, чтобы резкие жесты и модуляции голоса были по душе русским присяжным заседателям, которые, по моим наблюдениям, ценят спокойствие и простоту в „повадке" обвинителя. Я не мог разделить восхищения некоторых почтительных ценителей пред красноречием обвинителя, который в историческом процессе первейшей важности и значения, характеризуя одного из подсудимых с чисто русской фамилией, возопил: „нет! нет! он не русский"! и, швырнув пред собою трагическим жестом длинный карандаш, в деланном бессилии опустился в кресло. Таким приемам место на театральных подмостках. Обвинителю, как и проповеднику, не следует забывать великого Петра, в его Духовном Регламенте: „не надобно шататься вельми, будто веслом гребет; не надобно руками сплескивать, в боки упираться,

смеяться, да ненадобно и рыдать: вся бо сия лишняя. и неблагообразна суть, и слушателей возмущает".

Во время моего прокурорства не существовало сборников судебных речей, по которым можно было бы подготовиться к технике речи. Приходилось полагаться на собственные силы. Уже впоследствии, чрез много лет по оставлении прокуратуры, я стал знакомиться с русским духовным красноречием и нашел в нем блестящие примеры богатства языка и глубины мысли. Несомненно, что первое место в этом отношении принадлежит митрополиту московскому Филарету, хотя его проповеди и не согревают сердца, как некоторые чудесные слова архиепископа Иннокентия, например „Слово в Великий Пяток", и не блещут широтою взгляда митрополита Макария. Ум, гораздо более, чем сердце, слышится в словах Филарета, которые, подобно осеннему солнцу, светят, но не греют. Но в них нет зато ни полемического задора Амвросия и Никанора, ни узкой „злопыхательной" нетерпимости некоторых из последующих проповедников. У Филарета поражает чистота и строгость языка и отсутствие причастий и деепричастий и частого употребления слова „который", при чем у него в высшей степени проявляется то, что французы называют „la sobriété de la parole", и доведено до виртуозности устранение всего излишнего. Он сам определяет значение живого слова, говоря, что оно может быть *изострено* как меч—и тогда оно будет ранить и убивать—и может быть *измягчено* как елей—и тогда оно будет врачевать. Его проповеди исполнены красивых и сжатых образов и богаты афоризмами. „*Послушал* бы *молчания* Исакова", говорит он, упоминая о

своем несбыточном желании посетить обитель преподобного Сергия при жизни последнего. „Да будут благословенны,—восклицает он,—и слово и молчание. Да не будет слово праздно и молчание бессловесно". Или вот еще несколько афоризмов: „Видеть невидимые, но подлинные грехи человеку иногда мешают видимые, но мнимые добродетели. —Язвы друга, наносимые по братолюбию, достовернее, чем вольные лобзания врага.—Из глубины в день можно видеть звезды—это справедливо—только глубина должна быть крута, и чем глубже человек в своем смирении, тем яснее видит он небо". Читая Филарета, нельзя не удивляться искусству, с которым он в сильной и вместе сжатой форме умеет употребить приемы уподобления, повторения и сравнения, как, например, в следующем начале Слова на Рождество: — „Слава Христу, явившемуся в смирении естества нашего, да явит нам образы смирения. Он явился в вертепе, чтобы мы довольны были кельей,—в яслях, чтобы мы не требовали мягкого ложа,—в пеленах, чтобы мы любили простую одежду,—в *несловесии* младенческом, да будем яко дети простотою и незлобием и да не разрешаем языка нашего на празднословие". Образцы истинного красноречия находятся и в Четьих-Минеях Макария. Мученики говорят в них Диоклетиану, игемонам и префектам целые речи, дышащие вдохновением и исполненные красоты сильного и содержательного слова, чему, конечно, способствует и церковно-славянский язык. Сжатость языка, скупость слов и рядом с этим богатство содержания, в них влагаемого, достойны внимательного изучения в Четьих-Минеях. Как много говорят, например, такие выражения, как „тесное и прискорбное житие",—„общий

естества человеческого смертный долг",--„положить человека в сердце своем",—„воевать тайным коварством во образе правды" и т. д.

О построении обвинительных речей могу сказать, что никогда не следовал какому-либо общему и предвзятому приему. Черпая свои доводы из житейского опыта, психологического анализа побуждений и сопоставления между собою об'ективных обстоятельств дела, я начинал речи то с краткого описания события преступления, то с оценки бытового значения преступного деяния, о котором шло дело, то с характеристики главнейших личностей в деле, то, наконец, с изложения шаг за шагом хода тех следственных действий, результатом которых явилось предание суду. Желая убеждать присяжных в том, в чем я сам был убежден, а не производить на них впечатление, я старался избегать действовать на их воображение и подчас видя со стороны присяжных доверие и сочувствие к тому, что я говорю, сознательно стирал слишком резкие контуры вызываемых мною образов, за что подвергался иногда строгой критике прямолинейных обвинителей. Сознание некоторого дара слова, который был мне дан судьбою, заставляло меня строго относиться к себе, как к судебному оратору и никогда не забывать пред лицом человека, на судьбу которого я мог повлиять, завета Гоголя: „со словом надо обращаться честно".

Еще в юности глубоко врезались в мою память прекрасные слова Лабулэ: „Avec le pauvre, l'enfant, la femme et le coupable même — la justice doit se défier de ses forces et craindre d'avoir trop raison". Вот почему, через 48 лет по оставлении мною прокурорской деятельности, я спокойно вспоминаю свой труд обвинителя и думаю, что едва ли

между *моими* подсудимыми были люди, уносившие с собою, будучи поражены судебным приговором, чувство злобы, негодования или озлобления против меня лично. В речах моих я не мог, конечно, оправдывать их преступного дела и разделять взгляд, по которому tout comprendre—c'est tout pardonner, или безразлично „зреть на правых и виновных". Но я старался понять, как дошел подсудимый до своего злого дела, и в анализ совершенного им пути избегал вносить надменное самодовольство официальной безупречности. Я не забывал русской поговорки: „чужими грехами свят не будешь" или слышанного мною однажды на улице возгласа *„святым* то кулаком да по *окаянной* шее" и мне часто приходили на память глубокие слова Альфонса Карра: „я не могу удержаться,— говорит он, — от упрека некоторым судебным ораторам в том, что они иногда забираются на нравственную высоту, недоступную для большинства обыкновенных смертных. Мне хочется чувствовать человека в моем судье и обвинителе и знать, что если высокая добродетель и оградила его от пропасти, в которую я упал, то, по крайней мере, он измерил взором ее глубину и знает по собственным наблюдениям, как легко в нее оступиться. Если бы мне приходилось быть судимым ангелами, то я предпочел бы быть осужденным заочно". Я всегда находил, что на ряду со служебным долгом судебного деятеля, вырастает его нравственный долг. Он предписывает никогда не забывать, что об'ектом действий этого деятеля является прежде всего *человек*, имеющий право на уважение к своему человеческому достоинству. Всякое поругание последнего есть, неизбежно, поругание своей собственной души, в ее высочайшем проявлении—со-

вести. Оно не проходит даром—и рано или поздно может ожить в тяжких, гнетущих сознание, образах. Правосудие не может быть отрешено от справедливости, а последняя состоит вовсе не в одном правомерном применении к доказанному деянию карательных определений закона. Судебный деятель всем своим образом действий относительно людей, к деяниям которых он призван приложить свой ум, труд и власть, должен стремиться к осуществлению и нравственного закона. Забвение про живого человека, про товарища в общем мировом существовании, способного на чувство страдания, вменяет в ничто и ум, и талант судебного деятеля, и *внешнюю*, предполагаемую полезность его работы! Как бы ни было различно его общественное положение, сравнительно с положением тех, кого он призывает пред свой суд, как бы ни считал он себя безупречным не только в формальном, но и в нравственном отношении, в его душе должно, как живое напоминание о связи со всем окружающим миром, звучать прекрасное выражение браминов: „tat twam asi!“—*это тоже ты*,—но—ты в падении, ты в несчастии, ты в невежестве, нищете и заблуждении, ты в руках страсти!

Вот почему я не раз считал себя в праве просить присяжных заседателей о признании подсудимых заслуживающими, по обстоятельствам дела, снисхождения. По делу об убийстве Филиппа Штрам, совершенном его племянником, при чем мать убийцы Елизавета Штрам обвинялась в укрывательстве, я сказал о ней в конце своей речи: „Невольная свидетельница злодеяния своего сына, забитая нуждою и жизнью, она сделалась укрывательницей его действий потому, что не могла найти в себе силы изобличать его... Трепещущие

и бессильные руки матери вынуждены были скрывать следы преступления своего сына потому, что сердце матери по праву, данному ему природой, укрывало самого преступника. Поэтому вы, господа присяжные, поступите не только милостиво, но и справедливо, если скажете, что она заслуживает снисхождения". Где было возможно отыскать в деле проблески совести в подсудимом или указание на то, что он упал нравственно, но не погиб бесповоротно, я всегда подчеркивал это перед присяжными в таких выражениях, которые говорили подсудимому, особливо, если он был еще молод, что пред ним еще целая жизнь и что есть время исправиться и честной жизнью загладить и заставить забыть свой поступок. Я никогда не сочувствовал, однако, той *жестокой чувствительности*, благодаря которой у нас нередко совершенно исчезают из виду обвиняемый и дурное дело, им совершенное, а на скамье сидят отвлеченные подсудимые, не подлежащие каре закона и называемые обыкновенно *средою, порядком вещей, темпераментом, страстью, увлечением*. Я находил, что страсть многое об'ясняет и ничего не оправдывает; что никакой политический строй не может извинить попрания в себе и в других нравственного начала; что излишнее доверие, отсутствие или слабость надзора не уменьшают вины того, кто этим пользуется. Увлекаясь чувствительностью в отношении к виновному, нельзя становиться жестоким к потерпевшему, к пострадавшему—и к нравственному и материальному ущербу, причиненному преступлением, присоединять еще и обидное сознание, что это ничего не значит, что за это ни кары, ни порицания не следует, и что закон, который грозит спасительным страхом сла-

бому и колеблющемуся, есть мертвая буква, лишенная практического значения. Но там, где наряду со строгим словом осуждения уместно было слово милости и снисхождения, я ему давал звучать в своей речи. Такое отношение к подсудимым по одному делу оставило во мне своеобразные воспоминания. Помещик одной из северных губерний, брачная жизнь которого сложилась неудачно, был дружески принят в семье другого местного помещика, и изливал скорбь по поводу своих житейских невзгод перед сестрой этого помещика, молодой впечатлительной девушкой, только что окончившей воспитание в институте. Она стала его жалеть, и эта жалость, как часто бывает у русской женщины, перешла в любовь, которою и воспользовался сладкоречивый неудачник. Через некоторое время, заметив, что она нравится местному энергичному земскому деятелю, он, пустив в ход свое неотразимое на нее влияние, уговорил ее выйти замуж, предложив себя, с цинической самоуверенностью, в ее посаженые отцы. Бедная девушка, внявшая его настойчивым советам, вскоре убедилась, что нашла в муже доверчивого, благородного и горячо любящего человека, видящего в ней утешение и поддержку в своей тревожной, полной борьбы, общественной деятельности. Так прошло семь лет, и однажды, когда, вернувшись в свою усадьбу из уездного города, муж стал рассказывать про происки и вражду своих противников и высказал жене, какое огромное нравственное значение имеет для него непоколебимая вера в ее любовь и чистоту, она почувствовала, что не может и не должна скрывать от него истину о своем прошлом, и рассказала ему все. Это запоздалое признание ошеломило

несчастного человека, разрушило и осквернило в его глазах счастие его многих лет и возбудило в нем, на почве оскорбленного самолюбия, ревность, которая стала питать сама себя болезненными представлениями и приводившими его в ярость подозрениями. Заставляя жену почти ежедневно терзать его и терзаться самой подробным рассказом о своем „падении“, он, наконец, потребовал, чтобы она повторила в лицо своему соблазнителю все то, что рассказала мужу,—и затем стал его преследовать настойчивыми требованиями „сойти со сцены“. Посаженый отец бежал за границу, но оскорбленный муж, в сопровождении почти обезумевшей от страданий жены, бросился за ним в погоню, искал его по всей Европе и, наконец, настиг, вернувшись вслед за ним в Петербург, где ворвался в его квартиру и убил его ударами кинжала, приказав при этом жене стрелять в него из револьвера. Оба были преданы суду — он за убийство, она за покушение. Обвиняя по этому делу, обратившему на себя особое общественное внимание, и изображая на основании об'ективных данных последовательное развитие преступной решимости у подсудимого, я не мог не указать присяжным на глубину душевных страданий, перенесенных им, и не обратить их внимания на несчастную судьбу молодой женщины, не сумевшей заглушить в себе вопля совести, уставшей скрывать истину от любимого и достойного уважения человека. Присяжные дали ему снисхождение, а жену его, потерявшую голову в поднятой ею буре и ставшую слепым орудием в руках своего мужа, оправдали. Она пошла за мужем в ссылку на поселение в Сибирь. Я не терял их из виду и, когда представился случай, через несколько лет, в ка-

честве управляющего департаментом министерства юстиции, помог облегчению их участи.

Этот процесс был долгое время причиной непечатания мною сборника моих судебных речей, так как без него последний был бы не полон, а мне не хотелось давать повод случайным читателям моей книги растравлять своим любопытством, намеками или безтактными вопросами начавшия заживать у подсудимых раны прошлого. Между тем издание такого сборника представлялось мне необходимым, так как в прокуратуре начинали водворяться нежелательные приемы, от которых я хотел отвратить примерами моей деятельности, как *говорящего судьи*. После долгих колебаний я нашел исход в том, что, печатая отчет об этом процессе, ни разу не упомянул об именах и фамилии подсудимых, заменив их словами „обвиняемый", „обвиняемая", „подсудимый", „подсудимая". Вскоре по выходе в свет первого издания „Судебных речей", я получил письма от моих бывших подсудимых, в которых сквозило чувство горячей признательности за употребленный мною прием умолчания, и с тех пор между мною и этими прекрасными в существе своем людьми установилась переписка. Он сообщал мне о своих взглядах на разныя общественныя дела и события, она с трогательным доверием писала мне о своей счастливой семейной жизни и детях, принимая к сердцу мои личныя и общественныя скорби и радости. Несколько лет назад, давно прощенный и принятый на службу, он умер, пользуясь уважением окружающих, а я и до сих пор несколько раз в год получаю с далекого юга письма от нея, исполненныя благоговейных воспоминаний о муже и нежной тревоги о моем пошатнувшемся

здоровье... Невольно вспоминаются мне по этому поводу упреки Герцена нашей привычке налеплять на людей заранее сделанные ярлыки, из-за которых не желают видеть настоящего человека. „*Душе* все внешнее подвластно"—говорит Лермонтов. Иногда, получая письма, о которых я только что говорил, я переношусь в дни, последовавшие за судебным заседанием по этому делу, когда различныя дамы из общества удивлялись моему „непозволительно-мягкому" отношению к подсудимой и, негодуя на оправдательный приговор, находили, что ее-то и следовало наказать особенно строго за ея неуместную откровенность. „Кто ее тянул за язык"? спрашивали меня некоторыя чувствительныя особы с нескрываемым к ней презрением. Я получил и несколько открытых анонимных писем с намеками на то, что мое снисходительное к ней отношение, конечно, ни чем иным не может быть об'яснено, как влюбчивостью, столь неуместною в прокуроре. Такое вольное и невольное непонимание роли прокурора с особенной силой проявилось в нашумевшем в свое время деле Мясниковых, обвиняемых в составлении подложного завещания от имени разбогатевшего приказчика их отца Беляева, коим все его очень большое, но запутанное состояние, заключавшееся в разных предприятиях, лесных дачах, приисках, паях и т. п. было будто бы оставлено им своей жене, которая не замедлила по договору передать его подсудимым за 392 тысячи, чем были нарушены права законных наследников, очень отдаленных родственников мнимого завещателя.

Отсутствие здоровой политической жизни в тогдашнем петербургском обществе сказывалось в том страстном отношении, которое проявляли различ-

ные круги к процессам, выдающимся или по свойству преступления или по общественному положению обвиняемых. При всякого рода стеснительных и запретительных мерах по отношению к публичным чтениям—сравнительно свободная речь могла быть услышана, за исключением редких публичных заседаний ученых обществ, лишь из проповеднических уст духовных ораторов, на официальных торжествах и юбилеях и, наконец, в суде. Но на духовном витийстве лежала мертвящая рука, втискивавшая живое слово в узкия рамки предвзятых и не связанных с вопросами жизни текстов. Этим, конечно, об'яснялся успех таких ораторствующих богословов, как, например, пресловутый лорд Редсток, приезжавший гастролировать в Петербург. В его развязном обращении с Евангелием и в великосветской проповеди „веры без дел" слышалось все-таки независимое слово, и это невольно пленяло слушателей, давно мучимых духовным голодом.

Так же мало удовлетворения доставляли и разныя торжественныя, юбилейныя и застольныя речи. Произносимыя в узких пределах данного случая, оне были проникнуты той условной ложью, которая заставляла звучать изображение действительности „октавой выше", при чем иногда сам юбиляр или иной „виновник торжества" должен был чувствовать себя сконфуженным от раздутого превознесения своих скромных заслуг пред ведомством, отечеством и даже человечеством, в глубине души, быть-может, вспоминая стих Гаммерлинга: "Lasst uns lachen—uber die Grossen—die keine sind"! К тому же эти торжества бывали доступны небольшому числу лиц. Оставались судебныя заседания. Здесь слово тоже было ограничено

конкретными обстоятельствами данного дела, но оно вырабатывалось в свободной и наглядной борьбе сторон, и в содержание его вливалась неподдельная, настоящая жизнь с ея скорбями, паденіями и роковыми осложненіями, при чем толкование сторонами закона открывало путь критике различных общественных отношений. Поэтому, в словах подсудимых, свидетелей, защитников и подчас самих обвинителей и в поведении публики нередко слышались отголоски отдаленных надежд, душевной неудовлетворенности, возмущенного чувства или сдержанного негодования на тяжкия условия и обстановку официальной жизни и общественной среды. Как ни старался суд иногда оградить себя от внешнего мира, с его страстями и упованиями, плотиною строгих процессуальных правил, напор бывал так силен, что взволнованная общественная стихия, просачиваясь сквозь последнюю, то тут, то там прорывала ее и вторгалась в спокойное отправление правосудия. Наш новый суд долгое время был единственной отдушиной, в которую неизбежно и неотвратимо вылетали со свистом и шумом пары повсюду пригнетаемых общественных вожделений. Это заставляло при каждом выходящем из ряду деле волноваться все те элементы, которые, не будучи призваны судить, приходили, однако, в соприкосновение с судом. Понятно, какую роль при этом могла играть и играла ежедневная печать, отражая на себе это волнение. В деле Мясниковых было несколько поводов для возбуждения исключительного и болезненного любопытства публики. Дело тянулось четырнадцать лет, по большей части в старых судах, несколько раз кончаясь ничем и снова возникая. А суды эти не без основания внушали

обществу подозрительное к себе отношение. Обвиняемые были людьми очень богатыми, и их монументальный дом на Знаменской улице в то время, еще бедное красивыми частными постройками в Петербурге, вероятно не раз останавливал на себе завистливое внимание проходящих. Один из Мясниковых был ад'ютантом главного начальника III Отделения, т.-е. состоял в глазах общества в ближайшем распоряжении той власти, к которой оно, в лице многих, относилось с чувством боязливого и тайного недружелюбия. Вокруг наследственных прав безвестного сарапульского мещанина Ижболдина, пред'явившего гражданский иск о признании завещания подложным, образовалась группа далеко не бескорыстных радетелей и участников будущего дележа, коих, конечно, лишь с этой точки зрения, интересовало предстоящее „торжество правосудия", о котором они усиленно и постоянно взывали на доверчивых страницах мелкой прессы. Все это, вместе взятое, создало напряженный интерес к делу.

Подсудимые, Александр и Иван Мясниковы,— из которых, один, старший, разбитый жестоким параличом, производил, лежа в длинном кресле, очень тяжелое впечатление—виновными себя не признали,—а третий подсудимый, мещанин Амфилогий Карганов, сознавшийся в подделке подписи Беляева на завещании,—имел вид нервно-больного человека, очень волновался, с трудом овладевал нитью рассказа и настойчиво сбивался на повествование о своей жизни на отдаленном заводе, где он предавался беспробудному пьянству, обрекаемый на него скукой и разладом с женою, бывшею прежде „близкой знакомою" одного из обвиняемых. Пред судом прошло множество раз-

норечивых свидетелей, из которых некоторые, особливо со стороны гражданского истца, давали показания с чрезвычайной страстностью,—а настоящая, по моему мнению, потерпевшая Екатерина Беляева, женщина уже весьма немолодых лет, в светлой шляпке с розами, горячо и упорно заступалась за подсудимых, считая себя вполне удовлетворенной полученными от Мясниковых деньгами. Где было нужно, она отзывалась ослаблением памяти — и стойко выдержала более чем двухчасовой перекрестный допрос, вовсе не представляя из себя „трепетной лани", как ее называл насмешливо поверенный гражданского истца. Судебныя прения были очень оживленные и продолжительные. Кончая свою обвинительную речь, я сказал: „господа присяжные! обвинение мое окончено:—я старался, не увлекаясь, спокойно и сжато изложить перед вами существенныя обстоятельства этого сложного дела и те данныя, которыя почерпнуты мною из письменных документов. Если я упустил что-либо, то дополнит это ваша память, в которой отпечатлелись, без сомнения, все черты, все оттенки этого дела. Я обвиняю Александра Мясникова в том, что он задумал составить подложное завещание от имени Беляева и привел это намерение в исполнение. Ни в общественном и материальном его положении, ни в его образовании не нахожу я никаких обстоятельств, по которым можно бы говорить о снисходительном отношении к его поступку; он виновен—и только виновен. Обращаясь к Ивану Мясникову, я по совести должен заявить, что в деле нет указаний на его непосредственное участие в преступлении. Это не значит, однако, чтобы он не участвовал в нем косвенно. Нет сомнения

что Александр Мясников не мог бы решиться составить подложное завещание, не имея на то предварительного, быть-может, молчаливого, согласия со стороны брата,—он не мог бы составить завещания, не быв наперед уверен в том, что брат его беспрекословно примет все последствия этого, что при этом между ними не выйдет недоразумений. Ему надлежало быть уверенным, что Иван Мясников будет смотреть на все сквозь пальцы в то время, когда он станет действовать. Иван Мясников знал хорошо, какое преступление подготовляется, и не остановил брата, не предупредил своим влиянием преступления, не напугал своими угрозами. Поэтому я обвиняю Ивана Мясникова в попустительстве. Карганова я обвиняю в том, что он, после подготовительных занятий, подписал бумагу чужим именем, зная, что это делается для духовного завещания. Вместе с тем не могу не заметить, что Карганов был орудием в руках других, умственно и материально более, чем он, сильных лиц, что он находился под давлением своей привязанности к хозяевам, и что жизнь его разбита навсегда и непоправимо. Я прошу вас поэтому признать его заслуживающим полного снисхождения; равным образом думаю я, что не будет несправедливым признать заслуживающим снисхождения и Ивана Мясникова. Взглянув на него, близкого к гробу и разбитого параличом, вы, господа присяжные, поймете, под влиянием какого чувства я указываю вам на возможность этого признания. Излишне говорить вам, что приговор ваш будет иметь большое значение. Дело это тянется *четырнадцать* лет, и возбудило целую массу толков. Общественное мнение клонилось по отношению к нему то в одну, то в другую сторону, и судом обществен-

ного мнения дело это было несколько раз, и самым противоположным образом, разрешаемо. Подсудимых признавали то закоренелыми преступниками, то жертвами судебного ослепления. Но суд общественного мнения не есть суд правильный, не есть суд, свободный от увлечений,—общественное мнение бывает часто слепо, оно увлекается, бывает пристрастно и—или жестоко не по вине, или милостиво не по заслугам. Поэтому приговоры общественного мнения по этому делу не могут и не должны иметь значения для вас. Есть другой высший суд,—суд общественной совести. Это—ваш суд, господа присяжные. Мы переносим теперь дело Мясниковых из суда общественного мнения на суд общественной совести, которая не позволит вам не признать виновности подсудимых, если они действительно виноваты, и не допустит вас уклониться от оправдания их, если вы найдете их невиновными. Произнося ваш приговор, вы или снимете с них то ярмо подозрений и слухов, которое над ними тяготеет издавна—или скрепите его вашим спокойным и решительным словом. Если вы произнесете приговор обвинительный, если согласитесь с моими доводами и проникнетесь моим убеждением, то из него будет видно-что перед судом по Судебным Уставам нет богатых и бедных, нет сильных и слабых, а все равны, все одинаково ответственны"...

Присяжные заседатели совещались пять часов, и среди всеобщего напряженного внимания вынесли решение о том, что завещание не подложно, и тем самым произнесли оправдательный приговор относительно подсудимых. Приговор этот был понятен. Если с ним трудно было согласиться с точки зрения тяжести и доказательности улик

собранных по делу, совокупность которых должна бы привести присяжных к обвинительному ответу, согласному с логикой фактов, то с другой стороны, с точки зрения житейской, решение присяжных было легко об'яснимо. Пред ними были люди, выстрадавшие четырнадцать лет мучительного состояния под подозрением; один из них лежал пред ними бессильный и разрушенный физически, другой — Карганов — стоял полуразрушенный духовно, собирая последния силы своего мерцающего ума на защиту своих бывших хозяев. Если из дела выяснилось, что путем подложного завещания Мясниковы завладели имуществом Беляевой, то с другой стороны было с несомненностью ясно, что все это имущество было Беляевым приобретено от Мясниковых, благодаря участию его в их делах. Присяжным было видно, что Беляев с преданностью верного слуги любил сыновей своего старого хозяина, как родных детей, и что вместе с тем он думал, как видно было из клочков бумаги, на которых он пробовал написать проект завещания, об обезпечении своей жены, но не выразил этого окончательно, вероятно, лишь по свойственному многим боязливому отвращению к составлению завещания. Затем, в деле не было действительно *пострадавшего от преступления* и ввергнутого в нищету или тяжелое материальное положение, так как та спутница жизни Беляева, которой он несомненно собирался оставить часть своего имущества, признавала себя совершенно удовлетворенной и обезпеченной сделкой с Мясниковыми, доказывая своим поведением во время тяжелого допроса на суде, что volenti non fit injuria. Наконец, к этому имуществу тянулись жадныя руки целой компании искателей золотого руна,

своего рода аргонавтов, окруживших совершенно чужого для Беляева человека, ничем незаслуженное благополучие которых должно было быть построено, в случае признания завещания подложным, на ссылке в Сибирь трех предстоявших перед судом людей. Все это должны были видеть и чувствовать присяжные заседатели. И они произнесли оправдательный приговор, отпустив подсудимым их вину. Так же поступили через полгода и присяжные заседатели в Москве,—куда вследствие касации, согласно моему протесту, приговора, было перенесено дело Мясниковых,—несмотря на крайния усилия поверенного гражданских истцов Лохвицкого, подготовлявшего обвинительный приговор статьями в „Московских Ведомостях“ и усиленным розысканием и доставлением в Москву новых свидетелей обвинения, показание одного из которых вызвало оригинальный вопрос присяжного заседателя: „значит вы состоите у мещанина Ижболдина на *иждивении*“?

Приговор петербургских присяжных вызвал в Петербурге ропот и шумные толки, искусно подогреваемые и питаемые материальным разочарованием „аргонавтов“. На суд посыпались самые грубые нарекания и инсинуации. Окончание моей речи вызвало в печати ядовитыя выходки. Мне не хотели простить того, что я не представил из себя французского обвинителя, видящего в оправдательном приговоре личную для себя обиду. Не только мелкая пресса, но и некоторые более солидные органы—выражавшие четыре года спустя свое крайнее сожаление по поводу оставления мною прокуратуры—нападали на меня за слабость обвинения, а имевший крупную известность в беллетристике, искусный улавливатель общественных

настроений П. Д. Бобарыкин даже назвал в своем фельетоне мое обвинение защитительною речью. Вообще вокруг решения присяжных загорелась страстная полемика, вызванная теми причинами, лежащими в общественном строе, на которыя я указал выше. Тогда только что были введены открытыя письма с исключенною впоследствии надписью, что почтовое управление не отвечает за содержание письма. И я стал получать ругательныя письма самого злобного содержания, при чем, судя по стилю, иногда по несколько штук их подряд исходили от одного и того же лица, которому, очевидно, доставляло особое удовольствие делиться своим негодованием с почтальонами и швейцарами. Я был молод, впечатлителен и еще недостаточно „обстрелян" в общественной деятельности, и вся эта травля против меня, суда и присяжных действовала на меня удручающим образом. Но и теперь, через пятьдесят лет, я не могу без грусти вспомнить о том ослеплении, в которое вводилось по рядовому в сущности делу, общественное мнение. Vivit sub pectore vulnus!—Присяжные заседатели, как форма суда, составляли одно из драгоценнейших приобретений для бесправного и бесгласного русского общества, а в суде шла творческая работа по созиданию, согласных с народным характером и требованиями истинного правосудия, типов судебных деятелей—прокурора, защитника и судьи. Мне было тяжко видеть грубое и в значительной степени умышленное непонимание моего участия в этой работе и искажение смысла моих слов, в особенности со стороны тех, кто, горделиво присваивая себе роль руководителей общественного мнения, так мало заботился о его нравственном воспитании по отношению к святому делу

правосудия. Непосредственные результаты этой шумихи и ея практическая бесплодность сказались очень скоро. И в Москве, где обвинение метало громы и молонии в подсудимых, а гражданский истец ожесточенно копался в интимных подробностях их жизни, присяжные совещались по делу лишь *полчаса*, и вынесли такой же приговор, как в Петербурге.

Не избежала нападений по этому делу и адвокатура. Против К. К. Арсеньева было воздвинуто целое словесное и печатное гонение за то, как смел он выступить защитником одного из Мясниковых. Были забыты его научныя и литературныя заслуги, благородство его судебных приемов и то этическое направление в адвокатуре, которого он, вместе с В. Д. Спасовичем, был видным представителем. Люди, знакомые с делом лишь по случайным фельетонам, сенсационным заметкам и закулисному шушуканию „аргонавтов", не хотели допустить мысли, что он мог быть убежден в невиновности обратившагося к нему подсудимого, и с пеной у рта вопили о полученном им за свой тяжелый и продолжительный труд вполне законном вознаграждении. Быть-может, в этих завистливых нападках лежала одна из причин того, что вскоре русская адвокатура утратила в своих рядах такого безупречного и чистого, как кристалл, деятеля.

К обязанностям прокурорского надзора относится и возбуждение уголовных преследований.

Это возбуждение, возлагаемое законом на прокурора, должно слагаться из двоякого рода действий: из *проверки* сведений, дающих основание или даже обязывающих начать уголовное преследование, и из самого *начатия* преследования путем

предложений о производстве следствия, привлечения обвиняемого и принятия против него предупредительных от побега мер. Уголовное преследование слишком серьезная вещь, чтобы не вызывать самой тщательной обдуманности. Ни последующее оправдание судом, ни даже прекращение дела до предания суду — очень часто не могут изгладить материального и нравственного вреда, причиненного человеку поспешным и неосновательным привлечением его к уголовному делу. Знаменитый канцлер Дагессо называл осуждение невиновного—une calamitè publique. Такое же *бедствие*, только менее громкое, но одинаково тяжелое и далеко не всегда поправимое, вносящее скорбь, смущение и боль в жизнь человека и окружающих его—составляет неправильное привлечение к следствию в качестве обвиняемого. Предвзятость взгляда,—малодушное желание „jurare in verba magistri", когда такой magister, в лице высшего судебного чина, высказывает свое мнение о „несомненной" виновности того или другого лица,— и, наконец, хмель власти, бросающийся иногда в молодую и непривычную к ней голову,— все это способствует той поспешности в привлечении, о которой не могут не пожалеть все друзья истинного правосудия. Отсюда необходимость самой точной проверки дошедших до прокурора сведений о событии преступления и об участии в нем определенного лица.

Средством для такой проверки служит, согласно указаниям закона, полицейский розыск и дознание, при чем производство их может состоять или в негласном разведывании или в расспросе разных лиц, не облекаемом в строгие формы допроса. Каждый опытный судебный деятель знает, как часто

такая проверка обращает суровые очертания преступления в простой несчастный случай, и как удостоверенная дознанием действительность опровергает тревожную молву, разбивает подозрения и рисует событие в его настоящем, иногда даже несколько комическом виде. В семидесятых годах, на полуразгруженной дровяной барке, стоявшей на Фонтанке, обнаружены были случайно кости запястья человеческих рук, завернутые в бумагу, носившую следы крови. Для местных властей было очевидно, что тут скрыты следы или убийства,—при чем члены лишенного жизни умышленно разбрасывались в разных местах, чтобы затруднить открытие преступления,—или, -по крайней мере, какого-то зверского изувечения. Известие о страшной находке проникло в мелкую прессу, — и „пошла писать губерния"!—Прежде, однако, чем предлагать следователю о производстве следствия на основании составленного полицией протокола, я поручил местному товарищу прокурора произвести личное дознание—и что же оказалось? — Он обратился к профессору Ландцерту, и тот об'яснил, что это действительно кости ступней и запястья, но только не человека, а небольшого медведя, а дальнейшее дознание выяснило, что кости были выброшены из близлежащего магазина скорняка, приготовлявшего меховую подстилку из шкуры только что убитого на охоте медведя...

Надо заметить, однако, что прежние полицейские чины, отвлеченные обыкновенно от поручений судебного свойства массою дела по наружной полиции, не всегда имели время и надлежащий навык для успешного производства дознаний по серьезным, в смысле сложности и тонкости улик, делам, а иногда бывали и под влиянием предвзя-

тых или рекомендованных им взглядов. Достаточно указать из дел, в которых я выступал обвинителем, хотя бы на то, что по собранным полицией сведениям—поджог Овсянниковской миллионной мельницы представлялся простою печальною случайностью, которой место в „дневнике приключений", и что утопленная самым жестоким образом своим мужем в Ждановке жена служителя номерных бань Емельянова—утонула по собственной оплошности. Поэтому приходилось прибегать в некоторых случаях к производству дознаний чрез своих товарищей.

Мне лично пришлось не раз производить такие же дознания. Из них мне памятны особенно три: о смотрителе Литовского замка, маиоре Н., подговаривавшем, по заявлению двух арестантов, некоторых из содержащихся в замке нанести побои товарищу прокурора Ш., заведывавшему арестантскою частью;—о самоубийстве мещанки Р. и о целой компании шантажистов. В *первом* случае личное дознание было необходимо, чтобы беспристрастною рукою закрепить данные, при красноречивой наличности которых начальству предприимчивого маиора не оставалось бы ничего другого, как предать его суду. Во *втором*—дело шло о несчастной женщине, бывшей в связи с одним из титулованных представителей „золотой молодежи" и покинутой им с выдачею ей, на черный день, векселя. Когда она, подвигнутая нуждою, заявила ему, что пред'явит вексель ко взысканию, он обратился, с обвинением ее в шантаже, в учреждение, когда-то основанное по мысли императора Николая Павловича, „для утирания слез" страждущим, но вскоре поставившее себе другие обратные цели. Для „выяснения обстоятельств" был коман-

дирован очень представительный и сладкоречивый видный чиновник, вызывавший „шантажистку“ в „здание у Цепного моста“ в течение нескольких дней под ряд и ежедневно державший ее в страхе и томительном ожидании своих уговоров „бросить это дело“ по нескольку часов к ряду. Она возвращалась домой голодная, истомленная и в ужасе пред тем, „что день грядущий ей готовит“. Наконец, взвинченные нервы ее не выдержали, и она наложила на себя руки, оставив письмо на имя своей „жертвы“ с укорами ему за то, что вследствие его заявлений она была подвергнута таким испытаниям. Необходимо было и в этом случае, по тем же соображениям, как и в предыдущем, произвести, вне всяких влияний, личное дознание, с расспросом разнородных свидетелей прежде, чем на них могло быть оказано давление. Узнав, что мною не только начато, но и продолжается дознание, за которым вырисовывается на горизонте обвинение в злоупотреблении властью, побудившем к самоубийству, сладкоречивый „уговариватель“ стал являться в мою камеру и осаждать меня настойчивыми просьбами выслушать его об'яснения. Я это исполнил,—заставив его отчасти испытать на себе час-другой томительного ожидания, на которое он так щедро обрек несчастную самоубийцу.

Третий случай представляет своеобразный интерес. Уже и тогда, в начале семидесятых годов, в Петербурге, конечно, в меньшей мере, чем теперь, был распространен тот противоестественный порок, который в последнее время, найдя себе яко бы научных защитников и апологетов, в роде профессора Аллетрино, распустился пышным, махровым и ядовитым цветком в Берлине, где „ур-

нинги" (специальное название этих господ) устраивали свои балы и маскарады, имели свой клуб и, по временам, всплывали во всей красе своего порочного недуга в громких процессах, как например, графа Эйленбурга и других. Хотя в литературе по уголовному праву и проводилась некоторыми мысль о ненаказуемости этого порока, как извращения, вложенного в иные организмы самою природой, но наш закон еще грозил строгими карами свободному упражнению в этих утонченностях. Он без сомнения имел в виду, что обыкновенно удовлетворение порочных наклонностей направляется, с жадностью прозелитизма, на более или менее беззащитных, вследствие их возраста, неразвития, бедности или психопатической организации. Ограждая последних, закон не может допускать, чтобы порок выступал, со всеми своими материальными соблазнами, явно и с гордо поднятым челом. Там, где понятие о *грехе* утратило свою силу, где исчезает из общественного оборота понятие о *стыде*, единственной защитой общественной нравственности — является *страх* наказания. Оно, это наказание, может быть слабо и, по человечеству, снисходительно, но оно должно существовать, доказывая, что вопросы общественной нравственности не безразличны для государства, исполняющего свое культурное назначение. Этот страх наказания и связанного с ним позора может однако являться средством для шантажа, и это обязывает судебную власть к особой осторожности во всех случаях, когда имеется на лицо обвинение в склонении кого-либо к этому пороку. Такой именно случай и был в моей практике. Градоначальник Ѳ. Ѳ. Трепов прислал мне в феврале 1875 г. три протокола, составленные сыскною по-

лицией по заявлению пяти лиц о любодейных предложениях им со стороны людей, занимавших различные служебные посты в провинции и временно проживавших в Петербурге. Каждое такое заявление опиралось на свидетельские показания. Рассматривая внимательно эти разновременно составленные протоколы, я заметил, что обвинители и свидетели все одни и те же лица, лишь меняющиеся, в разных комбинациях, в каждом отдельном случае. В одном заявлению о сделанном ему предложении и о сопровождавших таковое действиях обиженным являлся сын коллежского регистратора Михайлов, а свидетелями—мещанин Миронов, солдатский сын Процек, лифляндец Андерсон и шведский подданный Норберг; в другом — негодующее заявление исходило от Процека, а Михайлов и другие были свидетелями,—в третьем заступником за свою оскорбленную стыдливость выступал Андерсон, а свидетелями были Процек и остальные и т. д.

Я вызвал к себе этих „потерпевших“ для личного с ними ознакомления, и увидел молодых людей, очевидно уже прошедших „огонь, воду и медные трубы“, с наглыми лицами, „беспокойною ласковостью взгляда“, развязными ухватками и в странных костюмах. На 17 летнем Михайлове, заявившем, что он *кончил* гимназию, т.-е.—прибавил он—вышел из второго класса, служил писарем, состоял „по домовой конторе“ и ничем определенным не занимается,—была яркая канаусовая рубашка, с очень низко вырезанным воротом, подпоясанная серебрянным шнурком, плисовые истертые шаровары и сапоги с красными отворотами,—на 19 летнем Миронове, по занятиям певчем и бывшем лакее у гробовых дел мастера, был старый

сюртук, из которого он давно вырос, с талией на груди и рукавами, кончающимися немного ниже локтя, и длинная, не по росту, бархатная жилетка. Они путались в об'яснениях, постоянно ссылаясь друг на друга и не приготовясь подтвердить эти ссылки—и сходились лишь в том, что постоянно пребывают в верхней галлерее Пассажа, в бильярдной там же, и при входе в Цирк—и что все они отлично выпили и вкусно поужинали в дорогом ресторане Дюссо, подписав, вместо уплаты, счет именем одного из „обидчиков", оставив при этом в удостоверение личности распорядителя обеда, его официальную визитную карточку, взятую вместе с деньгами из бумажника, „оброненного" им, когда он делал недостойные предложения. Я пригласил и злополучных провинциалов, желавших испить из чаши удовольствий Петербурга, посещая Цирк и Пассаж,—и там попадавших на удочку этой темной компании. Оказалось, что отдельные члены этой шайки то просили их, юных и неимущим, подарить билет для входа в Цирк, то умоляли посетить тяжко больную мать; то взывали о помощи для уплаты в училище, из которого исключены за неплатеж; то, заведя разговор в качестве соседей по месту в театре или в конке, приглашали к себе, обещая познакомить с интересной и ласковой к приезжим дамой—и везли в сыскное отделение или в дом, где помещаются бани или номера — и там или просто на улице подымали скандал на почве своего оскорбленного целомудрия, требуя денег за бесчестье и пользуясь оторопелостью своего нового знакомого для похищения у него разных ценных вещей. При отказе или малой готовности растерявшегося и легковерного „благотворителя", они призывали полицию и

составлялся протокол, заставлявший последнего терять голову, умолять о прекращении этого срама и т. д. Наиболее типичный из этих случаев был даже не с провинциалом, а с пользовавшимся общим уважением, весьма пожилым столичным почетным мировым судьею, который, направляясь на Михайловскую площадь, в сельско-хозяйственный клуб, был при проходе чрез роковой Пассаж остановлен молодым человеком (Процеком), просившим помощи для умирающей от злой чахотки матери. Они вышли на Итальянскую, и здесь судья дал просителю три рубля. „Что это? — спросил тот нахально и вызывающе меняя тон — разве мне три рубля следует? ах ты, старый пес! такие гадости предлагаешь, да тремя рублями думаешь отделаться! *пятьдесят*! и сию же минуту!—Что? да вы с ума сошли! — А! ты так... эй!“ — и с противоположного тротуара явился другой молодой человек. „Ты слышал, что этот, старый чорт, предлагал? — Да! конечно...—Ну видишь—плати сейчас с... с...— Да вы оба с ума сошли! Я позову полицию! — А! полицию... господин городовой! господин городовой!—пожалуйте сюда: вот этот господин и т. д.“... Начала собираться толпа. Городовой сказал старику: „пожалуйте в участок: там разберут“... И повел всех трех в участок, в сопровождении любопытных. „Дай десять рублей, отпущу“, вполголоса сказал несчастный сын умирающей матери. „Я ничего ему не ответил,—об'яснил мне мировой судья,—в глазах у меня ходили какие-то зеленые круги, ноги подгибались, в ушах звенело одно слово:—позор! позор!—а в голове, когда я думал о семье и о товарищах, мелькала мысль о самоубийстве. Так мы подошли к участку. „Ну, давай хоть три рубля, чорт с тобой“. — Я молчал. Мы

стали подниматься на лестницу. „Пожалуйте хоть рублик!“ Я отрицательно качнул головой, чувствуя, что готов зарыдать от этого дерзкого над собой глумления... Заявитель свистнул, и через миг ни его, ни свидетеля около меня не было. „Идите с богом домой, господин“, сказал флегматично городовой и пошел на свой пост, а я сел на подоконник, внезапно ослабев и чувствуя, что теряю сознание...“

К концу дознания картина организованного и смело осуществляемого шантажа стала для меня настолько ясной, что я решил вывернуть, так сказать, наизнанку сообщение градоначальника, обратив обвинителей в обвиняемых—и предложил судебному следователю приступить к следствию о мошенничестве и кражах этих „из молодых да ранних“ вымогателей, вероятно, к немалому удивлению чинов сыскной полиции, имя одного из которых мелькало в об'яснениях, данных при дознании. Судебная Палата разделила мой взгляд, а присяжные признали всех их виновными и даже не нашли их заслуживающими снисхождения.

Нужно ли говорить, как были необходимы именно личные прокурорские дознания в тех случаях, когда с одной стороны беззащитность детей или беспомощность больных лишала их возможности принести жалобу и заставляла молча страдать от жестокого или бездушного обращения, а с другой неосновательное или непродуманное вмешательство судебной власти в сокровенные стороны семейной жизни могло лишь безплодно осложнить и усугубить тяжесть сложившегося для страждущей стороны положения. Сколько трагических признаний, горьких слез, безысходного горя и мрачных картин семейной жизни и так называе-

мого „супружеского счастия“ видели и слышали стены моего прокурорского кабинета! Сколько раз приходилось, начав дознание в виду *возможности* будущего следствия, оставлять его без дальнейшего движения вследствие сознанной *одними* своей неправильности и жестокости, а *другими* выраженной готовности простить и забыть! Как нередко quos ego! обращалось в успокоенное за обе стороны „мир вам!“...

Вообще, при возбуждении уголовных преследований, и я и товарищи мои держались строгой разборчивости в оценке имевшихся данных, не увлекаясь видимою, внешней убедительностью их случайного иногда сцепления между собою. Я помню лишь один случай, когда пришлось пожалеть о необдуманной поспешности одного из моих неудачных товарищей, московского барича с громким именем, болезненное самолюбие и обидчивость которого были обратно пропорциональны его скудным способностям и деловой неуравновешенности. Однажды, рано утром, он явился ко мне, нервно возбужденный и, повидимому очень довольный собой. „Я провел всю ночь на следствии,—заявил он мне,—так как на днях получил анонимное письмо о том, что чиновник Т. живет со своей сестрой, а становой пристав, на мое требование, донес мне, что „поговаривают“. Считая, что в таких делах надо действовать быстро, я дал предложение следователю, и сегодня ночью мы в уединенно стоящую за городом хибарку налетели и...—Застали их in flagranti?—спросил я.—Н-нет,—но при них живут дети,—один даже трехмесячный, и эта женщина предерзко заявила, что дети ее незаконные, и такими в метриках записаны, а от кого они—она никому говорить не

обязана. Это какая-то фурия! представьте, сначала она рыдала, прощаясь с детьми—мы ее отправили в Литовский замок—а потом схватила грудного и хотела разбить ему голову об стену,—насилу вырвали. — Есть свидетели их связи, очевидцы?— Нет!—Что же говорит он?—Да его мне, признаться, жаль,—тихий такой, скромный, жалкий, — он служит канцелярским чиновником в Сенате... Я, впрочем, уже написал обер-прокурору о его привлечении и его, вероятно, сегодня же уволят. Так он об'яснил, что его сестра, по окончании курса в институте, поехала жить к отцу, вдовцу-помещику, а у того дома целый гарем, и ее всячески унижали и преследовали. Однажды, когда отцу показалось, что она за обедом непочтительно ответила его „барской барыне", он облил ее супом и надел ей миску на голову. Она ночью бежала и кое-как добралась до Петербурга, где служил, еще раньше выгнанный из дому за непочтение, брат ее. Он ее приютил, а от кого у нее дети—он не знает и ее не спрашивал. Бедность у них ужасная...—И это все, чем вы располагали, привлекая их, как обвиняемых? — Н-да — все!" — Мне пришлось сделать большое над собою усилие, чтобы, не выдавая своего негодования, об'яснить этому представителю усердия не по разуму всю неуместную поспешность его действий, которые он, повидимому, считал достойными особой похвалы. Но дело уже было сделано, гнездо двух гонимых судьбою несчастливцев разворочено и разорено, они осрамлены, упрятаны в тюрьму, а дети, дети— брошены на произвол судьбы... Это был один из тех случаев, в которых, по приведенному уже мною прекрасному выражению Лабулэ, la justice doit se défier de ses forces et craindre d'avoir trop

raison... Пришлось писать обер-прокурору, прося не увольнять Т. до рассмотрения Судебной Палатой вопроса о предании его суду — и рассказать все дело министру юстиции. Супруга его, графиня Пален, приняла участие в злополучной женщине и посетила ее в Литовском замке, найдя ее в состоянии отчаяния, доходящего до изступления. У нен пропало молоко, и мы с товарищами прокурора, в маленькую складчину, купили козу, которая, ради питания младенца, также была подвергнута тюремному заключению. Судебная Палата прекратила следствие за недостатком улик.

Меня лично укрепляло в моей осторожности в пользовании правом возбуждать уголовное преследование, кроме уже приведенных соображений, еще одно особое воспоминание. В 1867 году в Харьков при введении судебной реформы были назначены товарищами прокурора я и мой покойный друг с университетской скамьи, сын известного московского профессора Сергей Ѳедорович Морошкин. Нас связывали неизменно всю жизнь, до его смерти в 1900 году, несмотря на разность наших темпераментов, самые теплые душевные отношения. Мы наняли общую квартиру, куда должна была, оправясь от недавних родов, вскоре приехать из Москвы жена Морошкина. Поселившись в Харькове несколько ранее меня (я был сначала назначен в Сумы), Морошкин, к моему приезду, уже успел резко разойтись с прокурором суда, узким и бездарным человеком, относившимся с затаенной завистью к „московским Демосѳенам“, как он нас называл. Мы изучали вместе Судебные Уставы, но часто расходились во взглядах на некоторые статьи и много, и горячо спорили, что обыкновенно привлекало особое внима-

ние нашего общего слуги, глупого и чрезвычайно любопытного отставного улана, который даже спросил меня однажды — за что мы с барином все бранимся!—Получив известие, что жена выезжает в Харьков, мой друг собрался к ней навстречу. Как раз в день, предназначенный им для выезда— тогда до Тулы из Харькова надо было ехать на лошадях,—мы утром живо и громко поспорили, как сейчас помню, об обязательности для следователя вторичных предложений прокурора по одному и тому же предмету. Затем я хотел расставлять на полках шкафа, при помощи нашего Емельяна, мою маленькую библиотеку, но Морошкин, одержимый лихорадкой от'езда, потребовал, чтобы он шел немедленно за разными путевыми покупками, и, взяв его шутя за плечи со словами: „иди! иди!" вывел его за дверь в переднюю и запер ее за ним. Мы остались одни. „А ты заявил прокурору о своем от'езде или взял кратковременный отпуск?—спросил я.—Ну вот еще! пойду я к нему спрашиваться,—отвечал он,—а вот что—надо взять револьвер в дорогу,—дай мне, пожалуйста, твой,—мой ведь ты сам называешь игрушечным—и он шутя привесил к поясу свою маленькую кобуру с револьвером Лефоше, который служил более для украшения, чем для устрашения. Я подал ему свой чрез разделявший нас ломберный стол, предупредив, что он заряжен. Морошкин попробовал вдвинуть его в кобуру и не заметил, как при этом взвелся курок. Но я это ясно видел и только что хотел предупредить его, как он, со словами „нет! не входит!" приподнял револьвер, чтобы возвратить мне, но гладкая костяная ручка выскользнула у него из пальцев, и револьвер полетел на пол, ударившись о край стола. Раздался

выстрел, что-то меня как будто тронуло за левый бок—и удушливый дым наполнил комнату. Сквозь него я увидел искаженное ужасом лицо Морошкина. Бледный как полотно, он бросился ко мне.—„Ты жив?! жив?!"—едва мог он пролепетать. Когда дым рассеялся, мы увидели, что у моего домашнего сюртука с левой стороны как будто вырезана полоска сукна, а большая коническая пуля глубоко ушла в стену сзади меня. Морошкин долго не мог успокоиться и понять, как произошел выстрел, с некоторым недоверием относясь к моему рассказу о виденном самолично и думая, что это я говорю, чтобы оправдать ту неосторожность, в которой он себя обвинял. „Послушай,—сказал я ему, невольно задумавшись над происшедшим,—а нет ли в этом случае, так счастливо окончившемся для нас обоих, особого смысла? Нам предстоит прокурорская деятельность,—придется возбуждать уголовные преследования, поддерживать обвинения на суде. Как важно здесь избежать ошибок, увлечений, односторонности!—как легко поддаться общему впечатлению, не разбирая частностей, или, наоборот, сделать из частностей поспешный вывод,—как соблазнительно, сказав себе: *вот* преступление и *вот* виновник, начать притягивать к этому, не замечая логических скачков, отдельные данные дела... Представь себе, что пуля прошла бы немного левее. Она, по тому положению, в котором я стоял, могла попасть в сердце и убить меня на месте. Ты сам послал бы или даже побежал, в виду отсутствия Емельяна, за полицией. Явилась бы она и судебный следователь.—„Вы говорите, что это несчастный случай, но об'ясните, как же он произошел?—Не знаю, не понимаю...—Вы взвели курок?—тронули собачку?—

Нет.—И пистолет сам выстрелил?—Да! сам.—Это ваш револьвер?—Нет, убитого... Почему же он был у вас, а не у него?—Я уезжал и хотел его взять в дорогу.—А у вас был свой револьвер?—Да был, вот этот, маленький... А вы получили отпуск? заявили прокурору об от'езде? вы ведь уезжали на несколько дней... Нет, не заявлял.—Но кто-нибудь знал о вашем предполагаемом от'езде? например, ваша супруга?—Нет, она не знала, я хотел ей доставить нечаянную радость встречи"... Обращаются к Емельяну. „Что ж,—скажет он вероятно,—господа были хорошие, только промеж себя, бывало, бранятся, когда по-русски, а когда, если видят, что слушаешь, так не по-нашему. И в этот день с утра страсть как бранились—все книжку какую то смотрели, повернут страничку и давай спорить; потом убитый барин хотел со мной книги расставлять, а другой говорит:—иди, иди за покупками, взял меня за руку и вывел за дверь передней, да и дверь запер"... Спрашивают экспертов-оружейников, и те, конечно, говорят, что пистолет, если не взведен курок и не тронута собачка—сам выстрелить не может. Мало по-малу у следователя являются вполне понятные, сначале отрывочные мысли: люди новые здесь, их взаимные отношения неизвестны;—жили вместе, но при совместной жизни и затаенная вражда развивается сильнее;—выстрел почти в упор, прямо в сердце,—не мог же револьвер сам выстрелить;—револьверов два—один боевой, сильный, принадлежал убитому, но зачем то он в руках у стрелявшего;—хотел уезжать, однако где доказательства этого?—выстрел в пустой квартире, откуда настойчиво удален единственный свидетель;—утром какие-то раздраженные разговоры;—уж не умышленное ли

убийство здесь, или не американская ли дуэль, прикрываемая довольно не искусным рассказом о несчастной случайности?.. и т. д. On va vite dans ce chemin! И вот, в один прекрасный день, этот следователь или один из заменивших тебя и меня товарищей прокурора, может быть, и сам, столь ненавистный тебе, прокурор (ведь на дело было бы обращено исключительное внимание Министерства Юстиции и печати, а в местном обществе толкам и целым легендам не было бы конца) сказал бы тебе: „послушайте *господин* Морошкин, вы ведь занимали должность, требующую знакомства с Уложением о наказаниях, и мне излишне вам напоминать, что собственное сознание всегда служит смягчающим обстоятельством, не исключающим даже и полного оправдания, особливо если потерпевший сам вызвал в обвиняемом раздражение своими действиями. Конечно, это тяжело, но не думаете ли вы, что человек, готовившийся служить правосудию, выкажет уважение к этому правосудию, действуя откровенно и не вступая с ним, посредством неправдоподобных об'яснений, в борьбу, которая, к сожалению, не может окончиться в его пользу? Что если бы... подумайте-ка... Нам больно вам сказать, но не скроем, что мы во всяком случае, в виду данных следствия, вынуждены привлечь вас в качестве обвиняемого... и лишить вас свободы!“—Случай этот произвел на Морошкина сильнейшее впечатление. Он хранил всю жизнь пулю, с трудом вытащенную из стены, и мы оба смотрели на происшедшее, как на таинственное предупреждение нам обоим на пороге нашей обвинительной деятельности...

Был однако, случай в моей практике, когда я сознательно поспешил с возбуждением уголовного

преследования и даже вызвал этим определение Правительствующего Сената о передаче допущенных мною отступлений от закона на усмотрение Министра Юстиции. 20 октября 1874 года я получил телеграмму, в которой председатель лужского уездного земского собрания, от имени собрания, извещал меня, что председатель уездной управы Анненский,—о преступных деяниях которого по должности мирового посредника мною была возбуждена еще за год пред этим переписка с губернатором,—уличенный ревизионною комиссиею в растрате и присвоении свыше 14 тысяч рублей земских денег, скрылся из Луги. Вслед затем, по определению того же собрания, были мне присланы и протоколы ревизии, подтверждающие содержание телеграммы, а начальник сыскной полиции Путилин уведомил меня, что Анненский проживает без прописки в Петербурге и судя по его действиям—выходу из дому лишь с наступлением сумерок и размену кредитных билетов на золото,—собирается скрыться за границу. На основании положения о земских учреждениях передача на распоряжение судебной власти действий председателя управы делалось по постановлению губернского земского собрания. Но такое собрание должно было состояться лишь в половине декабря. Поэтому мне предстояло—или оставить сообщения уездного земского собрания без последствий и пребывать молчаливым и равнодушным зрителем обнаруженного у меня на глазах расхищения земских денег—или действовать энергично, имея в виду, что решением Сената по делу Пересыпкина было раз'яснено, что возбуждение следствия помимо начальства обвиняемого в случаях, где по закону производство следствия неизбежно (ст. 1089 Уст. Уг. Суд.), не

составляет нарушения прав начальства, так как предварительное следствие не предрешает вопроса о виновности, а лишь служит к раз'яснению дела. Я избрал второй путь и предложил судебному следователю привлечь Анненского, который немедленно сознался в растрате и подлогах, возвратив значительную часть произведенного на него начета— и был, согласно постановлению губернского земского собрания, предан первым департаментом Сената суду Палаты с участием присяжных заседателей... Представляя Сенату о предании Анненского суду, земское собрание сочло, однако, необходимым принести жалобу на нарушение мною его прав, и Сенат эту жалобу уважил, между прочим, на том основании, что прокурору не предоставлено никакого участия в охранении хозяйственных интересов земства. Последнее, конечно, справедливо, но я очевидно, ошибочно, считал, что на меня была возложена обязаность охранять интересы общества своевременным и целесообразным преследованием нарушителей закона, не занимаясь, по словам поэта, одним лишь „караньем маленьких воришек"... И судебная практика, и юридическая литература, и потерпевшие от преступных действий должностных лиц давно уже вопили о том, что между прокурором и судом стояло всегда начальство виновных, обыкновенно медлительное, а подчас и равнодушное до попустительства. Это больное место сознано было, наконец, и законодательством, и рассмотрению Государственной Думы предложен был проект Министра Юстиции, открывавший гораздо большее поле деятельности для обвинительной власти по делам о преступлениях должности.

Когда наличность события и преступная прикосновенность к нему заподозренного бывали до-

статочно выяснены, прокуратура моего времини, начиная преследование, уже не отдавалась никаким соображениям о том, *чье* неудовольствие это вызовет, не взирая на лица и на отголосок, который встретят ея действия в обществе и во влиятельных кругах. Правило Мольтке „erst wiegen—dann wagen“ соблюдалось и нами. Имея достаточные данныя, мы предлагали о привлечении заподозренного к следствию в качестве обвиняемого, не отодвигая этого ad calendas graecas. С половины восьмидесятых годов в судебной практике стал, однако, довольно часто встречаться достойный осуждения прием по отношению ко времени обращения *подозреваемого* в *обвиняемого*, прием, вызываемый, к сожалению, не заботою о том, чтобы поспешным привлечением не повредить человеку, который может оказаться невиновным, а совсем другими целями. Следователем и прокуратурой в этих случаях руководило желание достигнуть *успеха* обвинения лишением заподозренного возможности защищаться, молчаливо и безпомощно видя и чувствуя, как куется против него целая цепь улик и доказательств, своевременно опровергнуть или иначе осветить которые он лишен возможности. Обвиняемый, по закону, имел право присутствовать при всех следственных действиях и при допросе свидетелей, которые только в случаях необходимости—и то лишь *первоначально*—допрашивались в его отсутствие;—он мог приносить жалобы суду на всякое следственное действие, нарушающее или стесняющее его права. Но вот зачастую, по делам особой важности, будущий несомненный обвиняемый, против которого уже были вполне достаточные данные, допрашивался лишь как свидетель, иногда по нескольку раз в течение следствия. Он

знал, что дело ведется *о нем*, что допрашивается ряд свидетелей, против которых он мог бы выступить с возражениями и опровержениями, что производятся экспертизы, результат которых от него скрыт,—наконец, что может-быть, следствие касается, вследствие плохого знания следователем гражданского права и процесса (такие случаи бывали), чисто-гражданского дела, вовсе не подлежащего рассмотрению уголовного суда—и не может жаловаться, так как он не *участвующее в деле лицо*, а простой свидетель. Легко себе представить что переживал такой псевдосвидетель, какие ложные и опасные для себя шаги он делал, „оглушенный шумом внутренной тревоги“ и измученный этой следственной игрой „в кошку и мышку“. А когда наконец, его привлекали в качестве обвиняемого, ему представляли сразу огромное производство, иногда в нескольких томах, а на обдумывание возражений против подавляющего иногда количества данных, содержащихся в свидетельских показаниях, давали весьма краткий срок, торопясь направить дело к прокурору, который, получив следственное производство, уже не обязан допускать обвиняемого к дальнейшему с ним ознакомлению... Эта практика представлялась особенно вредной в виду состоявшегося в 1900 году решения уголовного коссационного департамента, которым было существенно поколебленно одно из основных прав подсудимого, право *молчания*, разрешением прочитывать показание, данное им следователю, хотя бы он не был на это согласен. Судебная практика моего времени встретила бы такое произвольное толкование одного из принципов нового процесса с недоумением. При обвинениях на суде и я, и некоторые из моих товарищей стара-

лись не опираться на собственное сознание подсудимого, даже сделанное на суде, и строить свою речь так, как бы сознания вовсе не было, почерпая из дела об'ективные доказательства и улики, не зависящие от того или другого настроения подсудимого,—от его подавленности, нервности, желания принять на себя чужую вину или смягчить свою, сознаваясь в меньшем, чем то, в чем его обвиняют... Увы! Tempora mutantur...

Осторожность в привлечении вещь необходимая. Это не только юридическое, но и нравственное требование. Но осторожность не должна быть смешиваема с умышленною медлительностью, сводящею на ничто права обвиняемого, подлежащего рано или поздно неизбежному привлечению. Медлительность, допускаемая следователем Порфирием Петровичем в привлечении Раскольникова, находит себе оправдание в условиях старого следственного порядка, когда присутствие обвиняемого при действиях следователя (в данном случае—пристава следственных дел) вовсе не допускалось,—да и наконец, чтобы подражать Порфирию Петровичу, надо быть и психологом его калибра, т.-е. калибра Достоевского.

В деятельности прокурорского надзора, как участвующего в судебных заседаниях, наблюдающего за производством следствий и направляющего дела с обвинительными актами или заключениями о прекращении следствий—встречается много вопросов, требующих всестороннего обсуждения и разрешения на почве обруманно выработанного взгляда, единообразно применяемого каждым из членов прокуратуры одного и того же Окружного Суда. Став во главе прокуратуры петербургского Суда, я организовал общия собрания

товарищей прокурора под своим председательством. В них обсуждались разные, возникавшие в нашей деятельности, вопросы, по которым представлялись подробные доклады. После обмена мнений производилось голосование—и результат его, облеченный в форму краткого определения, сообщался мною циркулярно к руководству по вверенному мне надзору. У меня сохранились некоторые доклады, сделанные в этих общих собраниях, например по вопросам о толковании 1460 ст. Уложения (сокрытие матерью тела мертворожденного младенца), об обязательности для прокурорского надзора присутствия его членов в судебных заседаниях по делам, производимым в порядке частного обвинения;—об обязательности для следователя вторичных предложений прокурора;—об условиях допущения гражданского истца в заседание по уголовному делу;—о содержании и назначении обвинительного акта. Последний доклад, крайне обстоятельный и блестяще изложенный, был напечатан затем в „Журале уголовного и гражданского права". По поводу этого доклада в „Киевском Слове" 1899 года, в некрологе Жуковского, бывший мой товарищ прокурора В. Г. Вильямсон писал: „я сошелся с Владимиром Ивановичем в период незабвенных дней 1871—75 г.г., когда во главе петербургской прокуратуры стоял А. Ф. Кони. Не могу без слез вспомнить это время, когда Судебные Уставы, не вызывавшие тогда подчисток и помарок, служили всем нам путеводною звездою. Прокуратура тогда жила единою тесною семьею. По инициативе прокурора были устроены в его камере вечерния заседания. На первых порах они вызвали протест со стороны некоторых товарищей прокурора и главным образом В. И. Жуковского, находившего бес-

цельным тратить время там, где все служебные вопросы могут, в конце концов, разрешаться единоличною властью прокурора, но затем неудовольствие улеглось, заседания возбудили во всех живейший интерес, и о них у всех сохранилось самое светлое воспоминание. На одном из них Жуковский прочел свой реферат, и я забыть не могу, как до поздней ночи, не проронив словечка, слушали мы его лекцию, которой мог бы позавидывать любой юридический факультет„.—Опираясь на положения, выработанные общим собранием, товарищи прокурора пред'являли единообразные заключения в распорядительных и судебных заседаниях, а я имел не раз удовольствие заявлять в общем собрании отделений суда, что в мнении своем я руководкусь постановлением общего собрания моих товарищей. Это не всегда и не всем нравилось... „Вы дали у себя конституцию", говорили мне, употребляя, быть-может не без задней мысли, запретное в то время слово. „Да! дал" отвечал я спокойно, в сознании, что ни обвинительная власть, ни правосудие ничего не проигрывают от обращения товарищей прокурора из механических исполнителей распоряжений и циркуляров своего начальника в связанных обсуждением и соглашением деятелей единого по целям учреждения.—Полезность таких общих собраний сказывалась и там, где почему-либо требовался от лиц прокурорского надзора ответ по поводу того или другого общественного явления. Так в 1874 году, Министерство Юстиции, начавшее хмуриться на суд присяжных и собирать данные против него, потребовало от товарищей прокурора сообщения сведений о числе оправдательных приговоров, выносимых присяжными, и о причинах

таковых. Можно себе представить, какую разноголосицу в сообщениях могло бы вызвать это требование, сколько субъективного и одностороннего могло бы быть в них внесено—и как умели бы услужливые канцелярские руки „разработать“ некоторые „причины оправдания“ во вред суду общественной совести. Мы посвятили несколько заседаний нашего общего собрания на выработку системы ответов. Результатом нашего совещания был мой циркуляр, в котором, находя необходимым причины оправдательных приговоров отыскивать в фактической обстановке каждого отдельного дела, не входя в оценку организации судебных учреждений и правильности деятельности их отдельных органов,—я просил моих товарищей искать эти причины в выяснении на суде свойств вменяемого деяния, в личности и поведении потерпевшего, в личности и житейской обстановке обвиняемого, в характере побуждений к преступлению,—во времени, протекшем со дня совершения преступления,—в размере строгости мер пресечения, принятых против обвиняемого до суда, и в несоответствии карательного закона с народным или общественным правосознанием. Наконец и для правильности коссационной деятельности прокурорского надзора в Петербурге эти общия собрания были весьма полезны, подвергнув не раз тщательному обсуждению и критическому разбору те нарушения в производстве дела на суде или в применении закона, которые, по мнению присутствовавшего в заседании обвинителя, могли послужить основанием к отмене состоявшегося оправдательного приговора. Благодаря этому, мы почти не знали оставления наших протестов Сенатом без уважения, и кассационному суду, признававшему

во время двенадцатилетней бытности моей его обер-прокурором лишь 54% протестов правильными, не приходилось внушать нам, что наши домогательства об отмене приговора лишены оснований или построены на несущественных нарушениях, а иногда и на рассуждениях о существе дела, или, наконец, на нарушениях, которые мы же сами допустили, не оградив своевременно своих прав. С моим уходом из прокуратуры Суда—эти общия собрания, к сожалению, прекратились...

Обращаясь к *личностям* из прокурорского надзора, оставившим наибольший след в моих воспоминаниях, я прежде всего с глубоким уважением останавливаюсь на прокуроре московского Окружного Суда конца шестидесятых годов Михаиле Федоровиче *Громницком*. При открытии новых судов в Москве прокурорский надзор был составлен довольно пестро. В него вошли из служащих старых судебных установлений и из Сената наиболее способные не только писать бумаги, но и те, о ком предполагалось, что они будут уметь и говорить. В том числе было несколько губернских и уездных стряпчих старого порядка. Далеко не все из них оказались умеющими „словом твердо править“ и владеть им в сдержанном жару судебных прений. Этому неумению как бы противоречило случайное соединение фамилий товарищей прокурора (Костылев, Громницкий, Крушинский), вызывавшее невольно представление о „карающей деснице“ правосудия. Между ними оказывались весьма добросовестные, но очень не удачные обвинители: gute Leute, aber schlechte Musikanten. Невольно вспоминается мне один из них—высокий, статный и красивый представитель одной из юго-восточных, входивших в состав России, народностей. Ему

пришлось обвинять по весьма несложному делу. Поздно вечером, в плохо освещенном и совершенно пустынном переулке у прохожего были сорваны часы. По звуку удалявшихся шагов бегущего ограбленный пустился в преследование и вскоре наткнулся на человека, упавшего, запнувшись за что-то на дороге, и разбившего себе нос. На крик потерпевшего сбежался народ и упавший был торжественно отведен в участок. Сорванных часов ни при нем, ни около него не нашли, но по справкам оказалось, что он уже не раз судился у мировых судей. Величавый красавец—товарищ прокурора—составил обвинительный акт и выступил его поддерживать на суде. „Господа присяжные!—воскликнул он—виновность подсудимого настолько очевидна, что доказывать ее значило бы злоупотреблять вашим временем. Поэтому я буду краток и обращу ваше внимание лишь на три важных обстоятельства: подсудимый бежал, подсудимый упал, подсудимый разбил себе нос. В справедливом негодовании на дерзкое похищение, вы оцените эти улики. Я кончил“... Присяжные и оценили: оправдали.

Один из этих бывших стрянчих—не по примеру своих товарищей—сразу занял не только выдающееся, но и бесспорно первое место в рядах русской прокуратуры. Скромный, задумчивый и молчаливый, бледноликий, с непокорными волосами и бородой—он как то вдруг, сразу вырос на обвинительной трибуне, и из уст его полилась речь, скованная железной силой логики и блиставшая суровой красотой скупого слова и щедрой мысли. Это и был Громницкий. Кто слышал в свое время, пятьдесят лет назад, его ровный металлический голос, кто вдумался в построение его речи и испытал на

себе эти неотразимые и в то же время простые, по видимому, доводы, обнимавшие друг друга, как звенья не разрывной цепи, тот не может его позабыть. Сочетание силы слова с простотою слова, отсутствие всяких ненужных вступлений и какого-либо пафоса, спокойное в своей твердости убеждение и самое подробное изучение и знание всех обстоятельств и особенностей разбираемого преступления—делали из его речи то неотразимое „стальное копье закона", о котором говорит король Лир. Почти по всем большим и сложным делам того времени, о котором я говорю, Громницкий выступал обвинителем, являясь не только достойным, но и опасным противником талантливых защитников, которых в изобилии выделяла из своей среды тогдашняя московская адвокатура. Иногда и самая случайная обстановка судебного заседания придавала особый колорит его речи. Я помню громкое дело студента Данилова, убившего растовщика и его служанку в обстановке, аналогичной с описанием Достоевским преступления Раскольникова и впоследствии сходной с убийством, совершенным офицером Ландсбергом в Петербурге, при чем надо заметить, что Достоевский написал свой роман до преступления Данилова, но напечатал его позже. По этому делу, взволновавшему всю Москву, едва Громницкий встал, чтобы начать свою речь в зале суда, которую начинали окутывать ранние зимние сумерки, как совсем рядом, в Чудовом монастыре, ударили к вечерни, и звуки колокола с такой силой влились в залу, что прокурор мог начать свою речь лишь, когда прозвучал последний удар колокола. Спокойствие, беспристрастие и привлекательная простота его приемов оказывали несомненное влияние на присяжных. Это сказалось в

знаменитом процессе Матовых, обвинявшихся в устройстве в окрестностях Москвы умело организованной шайки для подделки кредитных билетов. Подсудимых было более двадцати человек и столько же защитников, так что заседание происходило в знаменитой ротонде московского сенатского здания. Заседание длилось много дней, и, когда Громницкий встал, чтобы возражать своим противникам, встал и старшина присяжных и от их имени заявил председателю, что заседатели просят прокурора не утруждать себя возражением, так как они достаточно усвоили себе его обвинительную речь.

Петербургская прокуратура обогатила меня многими живыми воспоминаниями. Не говоря уже о том, что прокурорами в столице назначались люди, выдающиеся своею юридическою подготовкой, как первый прокурор Шрейбер, специально изучивший постановку обвинительной власти на Западе,—или несомненным ораторским талантом, как Роде, или тем и другим, как Баженов,—ряды товарищей прокурора настойчиво пополнялись всем, что можно было найти лучшего в провинции, почему в первое десятилетие по введении реформы петербургская прокуратура могла мериться, с уверенностью в своих силах, с корифеями петербургской адвокатуры. Министр Юстиции граф Пален и столичные прокуроры—в том числе и я—чутко прислушивались и, если можно так выразиться, „причитывались“ ко всем слухам и судебным отчетам о талантливых представителях обвинения в провинции, переводя их при первой возможности в Петербург. Конечно, при этом бывали невольные ошибки и разочарования, и случалось, что „une célebrité du clochet“ какого-нибудь губернского города, дивившая—особливо

в первые годы судебной реформы—свой муравейник, оказывалась добросовестною посредственностью или любителем громких фраз, плохо скрывавших жидкое содержание, лишенное анализа и системы. Когда в прокуратуре петербургской Судебной Палаты играл влиятельную роль В. А. Половцев, он имел обычай, по соглашению с прокурором Окружного Суда, назначать новичков, только что переведенных в Петербург, обвинителями по делам, в которых выступали защитниками более или менее сильные противники. Ведение такого дела на суде было своего рода экзаменом для провинциальной „знаменитости", и лишь после успешного выдержания этого искуса—успешного конечно не в смысле непременного обвинительного приговора—относительно новоприбывшего говорилось—dignus est intrare, и он зачислялся в передовой ряд боевой прокуратуры. Испытал это на себе и я, будучи переведен из Харькова в Петербург на должность товарища прокурора. Половцев назначил меня обвинителем по делу некоего Флора Францева, обвинявшегося в покушении на убийство. Обвинение было построено на косвенных уликах и отчасти на сознании самого Францева, от которого он на суде отказался. Я сказал речь, которая на уровне харьковских требований, пред'являемых в то время к оратору, могла бы сама по себе, независимо от исхода, считаться сильной и, пожалуй, яркой. Но противником моим был К. К. Арсеньев, который тончайшим разбором улик, иным их освещением и сочетанием, а также житейской окраской отношений между подсудимым и его предполагаемой жертвой, и вместе с тем наглядною оценкой приготовленного скорее для угрозы, чем для убийства

ножа—о чем мне и в голову не приходило—разбил меня и все обвинение в пух и прах. Урок был чувствителен и поучителен. Оставалось опустить руки и зачислить себя в рядовые исполнители обвинительных функций или начать переучиваться и постараться воспринять новые для меня приемы и систему судебного состязания... Я избрал второе.

В Петербурге я застал еще нескольких товарищей прокурора из времени первоначальных назначений. Между ними были оригиналы, которые понимали и применяли свое ораторское красноречие в виде умения сказать несколько высиженных не без труда и напряжения громких и подчас непроизвольно-комических фраз или представить суду грозную картину преступления, тоже не лишенную комизма по своей форме и содержанию. Таков был, например, товарищ прокурора В—ий, из бывших секретарей гражданской Палаты, который дебютировал обвинением одного мещанина в нанесении тяжкой раны в нижнюю часть живота своей возлюбленной, служившей кухаркой в одном семействе. Зная, что ее хозяева не любили, чтобы она принимала у себя гостей, он вызывал ее обыкновенно с черной лестницы на чердак. Заподозрив ее в неверности и распаленный ревностью, он вызвал ее на чердак и в то время, когда она хотела ему отдаться, нанес ей ножем жестокий удар. На суде он во всем сознался и горько каялся в своем поступке. Но В—ий нашел необходимым оттенить всю злостность последнего и сказал присяжным: „вы только представьте себе, господа, всю ужасную картину злодеяния подсудимого: он пришел к любящей его женщине, сделал ей заманчивое предложение и, когда она доверчиво раскрыла свои об'ятия, то он—вместо

обещанного — вонзил ей острый нож!!". С этого времени его перестали назначать обвинителем, а сделали так называемым камерным товарищем для заведывания делопроизводством прокурорской канцелярии. Там он и пребывал много лет, начиная свои письменные сношения „за прокурора" с официальными местами и лицами по разным вопросам неизменно со слов: „опыт показал, что"...

Другой товарищ прокурора, почтенный старик, мрачно смотревший из-под нависших бровей сквозь круглые очки, которые во время речи он подымал на лоб, оказался вскоре по своем назначении непригодным для обвинений перед присяжными заседателями, и его пришлось выпускать по делам о бродягах и о паспортных нарушениях. Но и здесь он умел стать на высоту общих соображений и, обвиняя какого-то несчастливца между прочим и в проживании по просроченному виду, сказал торжественным тоном: „преступление, в котором обвиняется подсудимый, имеет гораздо большее значение, чем кажется. При убийстве, при разбойном нападении, при поджоге—злая воля преступника напрягается единажды, и злое дело совершается. А затем, быть может, наступает и раскаяние. Но здесь, господа, злая воля упорствует и постоянно, в самой себе, почерпает новые силы, знаменуя свою закоренелость: день проходит, наступает ночь, и влечет за собою новый день и снова наступает ночь, и опять восходит солнце, и с ним для всех живущих наступает новый день, а *он* все просрочивает, все просрочивает, все просрочивает!"...

Несомненными и большими, специально обвинительными дарованиями, между моими товарищами отличался покойный Владимир Иванович

Жуковский, умный, блестяще образованный и опытный Мефистофель петербургской прокуратуры. Его сухая, чуждая всяких фраз, пропитанная беспощадной иронией, но всегда очень обдуманная и краткая речь, как нельзя более гармонировала с его жидкой фигурой, острыми чертами худого зеленовато-бледного лица, с ядовитою улыбкою тонких губ, редкою заостренною бородкой и насмешливо приподнятыми бровями над косыми глазами, из которых светился недобрым блеском критический ум. Вкрадчивым голосом и редким угловатым жестом руки с исхудалыми пальцами вил он обвинительную, нерасторжимо-логическую паутину вокруг подсудимого и, внезапно прерывая речь перед ее обычным заключением, садился, судорожно улыбаясь и никогда не удостоивая ответом безпомощного жужжания растерянного защитника. Лучшими его речами за мое время в Петербурге были речи по делу Марквард, обвинявшегося в поджоге своего застрахованного имущества, и по знаменитому делу Овсянникова. В первом случае подсудимый—содержатель сарептского магазина, открытие которого задолго подготовлялось замысловатыми рекламами,—был предан суду Судебной Палатой, вопреки заключению прокуратуры о недостаточности улик (с чем, однако, не был согласен Жуковский), и был настолько уверен в своем оправдании, что явился на суд во фраке и белом галстуке и, на предложения председателя давать об'яснения на показания свидетелей, только презрительно пожимал плечами. Жуковский произвел такое действие своею речью, в которой шаг за шагом с необыкновенным искусством проследил возникновение, развитие и осуществление преступного замысла обвиняемого, что Марквард не

только был обвинен, но присяжные даже отказали ему в снисхождении. Речь Жуковского по делу Овсянникова была великолепна по житейской наблюдательности и по изображению убежденного в своей безнаказанности миллионера, одинаково презиравшего и находившуюся во власти его капитала „мелкоту“ и всякого рода начальство, к слабым сторонам которого он хорошо изучил доступ. После окончания дела Овсянникова Министр Юстиции, бывший Псковский губернатор, собрал у себя лиц, возбудивших дело, т. е. меня,—подготовивших его до суда, т. е. товарища прокурора Маркова и следователя Книрима,—и проведших это дело на суде, т. е. Жуковского, для передачи о том, что им доложено государю об их успешных действиях и трудах, вызвавших обвинительный приговор против подсудимого, который по своим средствам и связям считал себя стоящим на недосягаемой для судебной власти высоте. Жуковский остался верен себе и нарушил оптимистическое настроение ядовитыми словами: „да, мы ведь именно этим и отличаемся от администрации: мы всегда бьем стоячего, а она всегда лежачего“. Этою мыслью он, вероятно, руководился и тогда, когда прокурор Судебной Палаты Лопухин потребовал от него принятия на себя обвинения по делу Веры Засулич. Ссылаясь на то, что преступление Засулич имеет политический характер и потому не подлежит обсуждению суда присяжных, он заявил, что этим обвинением он поставит в неприятное и даже трудное положение своего брата-эмигранта, проживающего в Женеве, и на отрез отказался от этого предложения. Быв за этот отказ назначен товарищем прокурора в Пензу, он вышел в отставку и сделался присяжным поверенным. Дея-

тельность защитника была, однако, не по нем, хотя он имел в ней успех. Гораздо охотнее выступал он поверенным гражданских истцов. Тут он был совсем в своей области, блистая остроумием, находчивостью и умением сводить высокое парение своих противников на каменистую почву житейской прозы.

Противоположность Жуковскому составлял Сергей Аркадьевич *Андреевский*, бывший у меня товарищем в Казани и Петербурге. Он тоже был выдающимся по своим дарованиям обвинителем, но совершенно в другом роде. Мягкий и человечный, литератор и поэт в душе, независимый и благородный в своих ораторских приемах, он был на обвинительной трибуне одним из „говорящих судей", никогда не забывавшим предписания закона не извлекать из дела одни лишь обстоятельства, уличающие подсудимого. Из всех моих товарищей он был наиболее склонен и способен оценивать в деянии подсудимого то, что итальянцы именуют непереводимым словом „ambiente", что одновременно означает условия, обстановку и среду того или другого явления. Поэтому, когда за отказом Жуковского и ему было предложено то же самое обвинение, он поставил вопрос о том, дозволено ли ему отозваться с осуждением о незаконных распоряжениях Трепова по Дому предварительного заключения, которые вызвали, по словам Засулич, ее кровавый протест. Дозволения этого, необходимого, по мнению Андреевского для силы и достоинства самого обвинения, не последовало, и он поступил по примеру Жуковского, а затем, причисленный к министерству, вышел в отставку и вскоре занял одно из самых видных мест в петербургской адвокатуре.

Между моими товарищами особо выдающимся являлся Владимир Константинович Случевский. Тонкий юридический анализ обстоятельств дела, изложенный в убедительной и проникнутой достоинством форме, был яркою принадлежностью его обвинительных речей, а в разборе и установлении им состава преступления чувствовалась обширная научная юридическая подготовка. Благодаря ей, выразившейся в последствии в ряде ученых работ, Случевский мог по праву занять кафедру уголовного судопроизводства в Училище правоведения и в Военно-юридической Академии, быть деятельным участником комиссии по составлению Уголовного Уложения 1893 года, занять затем пост обер-прокурора Уголовного кассационного Департамента и быть избранным в почетные доктора Петербургского Университета.

И в гражданских заседаниях Суда прокуратура этого времени была представлена настолько сильно, что по отношению к ней обычный упрек в том, что она ничего не вносит своего в разрешение дела и служит лишь напрасным и отяготительным привеском к заседанию—не был справедлив. Мои товарищи, пред'являвшие заключения по гражданским делам, являлись представителями не только солидного знания гражданского права и процесса, но и обладателями той „цивилистической" складки мышления, которая далеко не всегда бывает свойственна юристам по образованию. Области уголовного и гражданского права настолько обособлены—и в преподовании и в практике, что нередко деятели в одной из них никак не могут приучить себя становиться на точку зрения деятелей в другой. Формальные доказательства гражданского права и процессуальные условия их оценки с трудом

умещаются в сознании криминалиста привыкшего, не стесняясь предустановленными правилами, оценивать улики исключительно по внутреннему убеждению. С другой стороны истинный *цивилист* не без суеверной боязни принимает на себя, в случае необходимости, исследование и оценку мотивов, побуждений и целей тех или других, подлежащих его обсуждению, действий, привыкнув обращаться к толкованию *намерения* лишь в точно определенных законом случаях. Я помню, как в конце семидесятых годов председательствовавший в консультации при Министерстве Юстиции товарищ министра О. В. Эссен с тонкой улыбкой обращался к младшему из членов консультации, имевшему репутацию выдающегося *криминалиста*, с вопросом: „а вы, вероятно, не находите *достаточных улик* для признания за жалобщиком права собственности?"—В то время, о котором я вспоминаю, еще существовала превосходная школа для практиков-цивилистов: старые гражданские департаменты Сената. Исчезновение этой школы и отсутствие в нашем судебном устройстве начала roulement между личным составом отделений суда грозили оскудением хорошо подготовленных для гражданских дел деятелей и возможностью некоторого осуществления того определения, которое ядовито давал нашим судьям покойный Лохвицкий, говоривший, что у нас члены судов строго разделяются на криминалистов и цивилистов, при чем первыми считают себя те, кто *ничего не понимает* в гражданском праве, а вторыми те, кто тоже ничего не понимает в уголовном праве... Конечно, это чрезвычайно преувеличено, но, те, кому пришлось заниматься уголовною кассационною практикой, знают, как часто в делах, где

возникают преюдициальные (предсудимые) вопросы, или преступление касается сделок с имуществом и договоров, чувствуется отсутствие живого знакомства с коренными началами гражданского права и процесса в уголовных судьях.

Перейдя из Казани в Петербург, я нашел, что заключения по гражданским делам пред'являет тот „камерный" товарищ В—ий, о котором я уже говорил выше, как обвинителе. Я пошел послушать его—и только руками развел... Когда, согласно докладу, дело было простое и несложное, заключение его тоже не было сложным. „Полагаю в иске отказать" или „удовлетворить исковые требования", говорил он внушительно, не утруждая ни себя, ни судей изложением мотивов,—и садился. Но если дело было спорным или мало-мальски сложным, он величественно поднимался и с чрезвычайною серьезностью изрекал: „имею честь заявить суду, что к разрешению этого дела со стороны прокурорского надзора препятствий не встречается", при чем его личное мнение оставалось, говоря словами И. Ѳ. Горбунова, „покрыто мраком неизвестности". Очевидно, что в таком положении дело оставить было невозможно, и мне удалось приобрести для пред'явления заключений по гражданским делам двух выдающихся цивилистов—С. Ф. Платонова и А. Л. Боровиковского, которые в гражданских отделениях петербургского Суда были не „докучными собеседниками", но желательными сотрудниками.

С *Боровиковским* мы встретились в жизни еще весьма молодыми людьми: я—товарищем прокурора харьковского Окружного Суда, он—начинающим адвокатом. Уже тогда и вслед затем в должности товарища прокурора симбирского Окруж-

ного Суда он заявил себя талантливым и знающим цивилистом. Несмотря на то, что в мое время состав гражданских отделений петербургского Окружного Суда был превосходный по познаниям и опыту большинства входивших в них товарищей председателя и членов, Боровиковский почти сразу после своего перевода в Петербург приобрел среди них не только общее уважение, но и авторитет. К его блестящим заключениям суд стал прислушиваться с необычайным вниманием, а сам он сделался в юридических и литературных кругах популярным человеком. Это об'ясняется тем, что все в его натуре и деятельности литературно-юридической и учено-учебной (он был несколько лет под ряд преподавателем гражданского судопроизводства в Новороссийском университете) стояло в противоречии с узко-формальным и подьяческим отношением к действительности, к ее условиям и запросам, и это, вместе с яркой логикой и прочным знанием, не могло не придавать его взглядам особой цены и веса. Слушая его заключения в суде и знакомясь впоследствии с его взглядами, как обер-прокурора гражданского кассационного департамента и члена различных законодательных комиссий, приходилось видеть, как в его устах правда материальная, правда житейская выступала наружу, пробивая кору формальной и условной истины. Русский человек со всеми его свойствами, начиная с неравномерности работы под влиянием настроений и кончая некоторой наружной небрежностью—он привлекал к себе незлобивостью, отсутствием всякой ходульности, умением искренно подсмеиваться над самим собою и большою скромностью в оценке своих способностей и трудов. Наши добрые отношения

не прерывались до самой его смерти. Издав свою замечательную книгу „Отчет судьи“ в 3 томах, он прислал мне ее со следующим посвящением:

„Вы—жрец, а я дьячек, но Бог у нас один.
(Митрополит в дьячке повинен видеть брата).
В наш храм, украшенный венком из злата,
Несу и я свой дар—клочок моих седин“.

Назначение обер-прокурором, вполне им заслуженное, очень его встревожило. „Я просто подавлен смущением, — писал он мне: — достаточны ли мои силы и знания для высокого дела, на которое меня зовут? Для меня в этом отношении было большим облегчением узнать, что Вы относитесь с сердечным сочувствием к павшему на меня выбору. Если и Вы не считаете задачу превосходящею мои способности, то это поистине окрыляет меня“...

Будучи „прирожденным цивилистом“, Боровиковский захотел однако испытать себя в уголовном обвинении. Уголовный процесс был ему достаточно знаком по его адвокатской деятельности в Харькове, словом он владел прекрасно, и я, согласно его желанию, назначил его обвинителем по делу об отравлении женою ненавистного ей мужа подачею ему, пьяному, вместо кружки квасу—кружки наполненной медным купоросом. Подсудимая говорила, что муж отравился сам по неосторожности, с пьяных глаз перепутав кружки. Об'яснение это было не лишено правдоподобия, хотя нескрываемая злоба подсудимой против мужа и неоднократные заочные ее угрозы „показать себя старому пьяному чорту“, удостоверенные рядом свидетелей, и говорили против нее. Желудок отравленного, прожженный и проеденный кислотою, находился в

банке со спиртом на столе вещественных доказательств.

Председательствовал бездарный и тяжкодумный товарищ председателя, отличавшийся нелепою постановкою вопросов, за редакцию которых обыкновенно стоял горою со всем упорством самолюбивой ограниченности,—и не менее удачными руководящими напутствиями присяжных. Тоска и злость брали слушать, как иногда, после блестящих речей сторон—после Спасовича или Арсеньева—он начинал жевать свои „раз'яснения" и отрыгать эту жвачку в безконечных повторениях и нейдущих к делу якобы юридических примерах. Однажды, в деле о подлоге векселей, затянувшемся далеко за полночь, он стал, без всякой надобности и повода, об'яснять присяжным совершенно ясную разницу между заявлением о подлоге и спором о недействительности документа, да так об'яснять, что я под концом сам стал сомневаться, понимаю ли я эту разницу. Вот с таким кормчим пришлось впервые плыть Боровиковскому между Сциллой и Харибдой обвинения и защиты! В виду сомнения в наличности события преступления присяжным должен был быть поставлен прежде всего вопрос о том, последовала ли смерть потерпевшего от данного ему с умыслом ядовитого вещества. Отрицательным ответом присяжные признали бы наличность собственной неосторожности отравившегося. Но мудрый кормчий ухитрился поставить вопрос в такой лаконической форме: „умер ли N. N. от данного ему яда?„ Присяжные заседатели, поверив об'яснениям подсудимой и будучи обязаны отвечать утвердительно или отрицательно словами *да* или *нет*,—вынесли вердикт, гласивший на первый вопрос: „нет!" и оставили про-

чие вопросы без ответа... Боровиковский, не искушившийся в том, какую важность имеет в уголовном процессе редакция вопросов, и потому не возражавший своевременно против принятой судом, был ошеломлен и пришел ко мне, в прокурорский кабинет, совсем растроенный. „Помилуйте!—восклицал он—что же это такое? Предо мною, возбуждая мое отвращение, стоит банка и в ней какие-то грязные лоскутья, бывшие желудком потерпевшего, а присяжные мне говорят: „нет! не умер“... Как вам нравится это *нет?!* Уж увольте меня на будущее время от обвинений: участвовать в воскрешении мертвых не желаю“... И он снова погрузился в любимую им область гражданских дел.